

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ПЕТЕРБУРГ.
СТИХОТВОРЕНИЯ
(СБОРНИК)

Андрей Белый

Петербург.

Стихотворения (сборник)

Белый А.

Петербург. Стихотворения (сборник) / А. Белый — «Public Domain»,

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе». Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».

Содержание

Андрей Белый	5
Петербург	12
Пролог	12
Глава первая,	13
Глава вторая,	49
Глава третья,	86
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Андрей Белый

Петербург. Стихотворения

Андрей Белый

В 1922 году, в Берлине, даря мне новое издание «Петербурга», Андрей Белый на нем написал: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь».

Не всю жизнь, но девятнадцать лет судьба нас сталкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к тому поколению, к которому принадлежал он, но я застал его поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне.

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю – исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может <быть> низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас возвышающую правду, надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания.

* * *

Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком, стал являться необыкновенно хорошенький мальчик – Боря Бугаев, сын профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентам – феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассникам-гимназистам – учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч. Так вечность, «дитя играющее», катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ Белого.

Профессор Бугаев в ту пору говаривал: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». За этими шутивными словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудаком, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте (уже в начале девятисотых годов) Н.Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» – «Это мой папа», – отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, с которою он любил отвечать на неприятные вопросы.

Его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц: то были Екатерина Павловна Леткова, впоследствии Султанова, сотрудница «Русского Богатства», в которую дол-

гие годы был безнадежно влюблен Боборыкин, и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине К.Е. Маковского «Боярская свадьба», где с Александры Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны – одна из дружек. Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою, несколько полною женщиной со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, заехав с одной родственницей к портнихе, встретил я Александру Дмитриевну. Приподымая широкую тафтяную юбку концами пальчиков, она вертелась пред зеркалом, приговаривая: «А право же, я ведь еще хоть куда!» В 1912 г. я имел случай наблюдать, что сердце ее еще не чуждо волнений.

Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Ситуация была самая обыкновенная: безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж и красивая, кокетливая жена, обуреваемая самыми «земными» желаниями. Отсюда – столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал.

Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности «Котика Летаева». Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в «Петербурге», и в «Котике Летаеве», и в «Преступлении Николая Летаева», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чуде», и в «Москве под ударом» завязкою служит один и тот же семейный конфликт. Все это – варианты драмы, некогда разыгравшейся в семействе Бугаевых. Не только конфигурация действующих лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторяются до мельчайших подробностей. Изображение наименее схоже с действительностью в «Петербурге». Зато в последующих романах оно доходит почти до фотографической точности. Чем зрелее становился Белый, тем упорнее он возвращался к этим воспоминаниям детства, тем более значения они приобретали в его глазах. Начиная с «Петербурга», всяческие, философские и бытовые, задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и, в сущности, служат лишь для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, поразившие в младенчестве. Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого навсегда поражены и – смею сказать – потрясены происходившими в доме Бугаевых «житейскими грозами», как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь.

В семейных бурях он очутился листиком или песчинкою: меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоти от швыряемой об пол керосиновой лампы, – и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содомы и Гоморры. Первичное чувство в нем было таково: папу он боялся и втайне ненавидел до очень сильных степеней ненависти: недаром потенциальные или действительные преступления против отца (вплоть до покушения на отцеубийство) составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел и ею восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись вовсе противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность в мамочку уживалась с нелестным представлением об ее уме и с инстинктивным отвращением к ее отчетливой, пряной плотскости.

Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью – и наоборот. «Раздираемый», по собственному выражению, между родителями, Белый по всякому поводу переживал относительную правоту и неправоту каждого из них. Всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двузначе. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть – добро в зле и зло в добре.

Сперва он привык таить от отца любовь к матери (и ко всему «материнскому»), а от матери любовь к отцу (и ко всему «отцовскому») – и научился понимать, что в таком притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он переносить на других людей – и это создало ему славу двуличного человека. Буду вполне откровенен: нередко он и бывал двуличен, и извлекал из двуличия ту выгоду, которую оно иногда может дать. Но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма. И то и другое он искренно ненавидел. Но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно – вдруг вскипал и раздражался бешеными филиппиками; собираясь громить и обличать – внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному. Но и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось ему «изнанкою правды», а в откровенностях помалкивал «о последнем».

В сущности, своему «раздиранию» между родителями он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать его своим учеником и преемником – мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией: не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все «позитивное», близкое отцу, близко и ему, но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями «иначе и жить нельзя». К мистике, а затем к символизму он пришел трудным путем примирения позитивистических тенденций девятнадцатого века с философией Владимира Соловьева. Недаром, прежде чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. Всего лучше об этом рассказано им самим. Я только хотел указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и всей его литературной судьбы.

* * *

В тот вечер, когда в Москве получилось по телефону известие об убийстве Распутина, Гершензон повел меня к Н.А. Бердяеву. Там обсуждались события. Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого. Он был без жены, которую ставил в Дорнахе. С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества. Потом он приходил ко мне – рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных.

Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца. Чудовищ, которые были и подстрекателями, и Эринниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вожеления, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с «Петербурга» и кончая «Москвой под ударом», полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, т. е. с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной, главной центральной темой всех романов Белого, за исключением «Серебряного Голубя». Ни с революцией, ни с войной эта тема по

существу не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В «Котике Летаеве», в «Преступлении Николая Летаева» и в «Крещеном китайце» Белый без него и обошелся. С событиями 1905 и 1914 гг. связаны только «Петербург», «Московский чудак» и «Москва под ударом». Но для всякого, кто читал последние два романа, совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притянута за волосы. «Московского чудака» и «Москву под ударом» Белый писал в середине двадцатых годов, в советской России. И в тексте, и в предисловии он изо всех сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов, математик Коробкин, олицетворяет «свободную по существу науку», против которой ведет страшную интригу капиталистический мир, избравший своим орудием Митю, коробкинского сына. В действительности до всей этой абсолютно неправдоподобной «концепции» Белому не было никакого дела. Его истинной целью было – дать очередной вариант своей излюбленной темы о преступлении против отца. Темные силы, толкающие Митю на преступление, наряжены в маски капиталистических демонов единственно потому, что этого требовал «социальный заказ». Замечательно, что «Московский чудак» и «Москва под ударом» должны были, по заявлению Белого, составить лишь начало обширного цикла романов, который, однако, не был докончен, так же как цикл, посвященный истории Николая Летаева. Почему? Потому что в обоих случаях Белый охладевал к своему замыслу тотчас после того, как была написана единственно важная для него часть – о преступлении сына против отца.

Только в «Петербурге», самом раннем из романов этой «эдиповской» серии, тема революции 1905 года действительно занимала Белого. Однако, по его собственным словам, первая мысль связать личную тему с политической возникла и в «Петербурге» потому, что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. По своей неизменной склонности к чертежам он изображал структуру «Петербурга» в виде двух равных окружностей, из которых одна изображала личную, другая – политическую тему; вследствие очень незначительного, гораздо менее радиуса, расстояния между центрами, большая часть площади у этих окружностей оказывалась общей; она-то и представляла собою тему провокации, объединяющей обе стороны замысла и занимающей в нем центральное место.

«Петербург» был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамента полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического. Полиция подстрекала преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то есть действовала совершенно как темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать – его чувство, на единство источника. Политическая провокация получала в его глазах черты демонические в самом прямом смысле слова. За спиной полиции, от директора департамента до простого дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходов. Ненастной весенней ночью, в пустынном немецком городке Саарове, мы возвращались от Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карманным фонариком. Единственный сааровский сторож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас, должно быть, привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг Белый его увидел:

- Кто это?
- Ночной сторож.
- Ага, значит – полиция? За нами следят?
- Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно ходить одному.

Белый ускорил шаги – сторож отстал. На нашу беду, в гостинице, куда примчались мы чуть не рысью, пришлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколом. Наконец сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем дело. Вместо ответа Белый из последних сил принялся дубасить в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посреди передней, еле дыша и обливаясь потом.

* * *

Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела (что-то о театрах в эпоху Французской революции), исписывая вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал «Записки чудака», книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое.

С конца 1920 г. я жил в Петербурге. Весной 1921 г. переселился туда и он, там писателям было выгоднее. Ему дали комнату в гостинице на улице Гоголя, против бывшего ресторана «Вена»... Он сторонился от поэтического Петербурга, подолгу гостя в Царском Селе у Иванова-Разумника. Возобновились наши свидания и прогулки – теперь уж по петербургским набережным. В белые ночи, в неизъяснимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение Медному Всаднику. Однажды я водил Белого к тому дому, где умер Пушкин.

Как-то раз вбежал он ко мне веселый и светлый, каким я давно уже его не видал. Принес поэму «Первое свидание» – лучшее из всего, что написано им в стихах. Я был первым слушателем поэмы – да простится мне это горделивое воспоминание. Да простится мне и другое: в те самые дни написал он и первую свою статью обо мне – для пятого выпуска «Записок Мечтателей». То был последний выпуск, проредактированный еще Блоком, но вышедший уже после смерти Блока.

Он давно мечтал выехать за границу. Говорил, что хочется отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге – из этого тоже ничего не вышло, да и не могло выйти: он сам всему Петербургу разболтал «по секрету», что собрался бежать. Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и, разумеется, доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт.

...О том, как он жил в советской России, мне известно не много. Он все-таки женился на К.Н. Васильевой, некоторое время вел антропософскую работу. Летом 1923 года, в Крыму, гостя у Максимилиана Волошина, помирился с Брюсовым. В советских изданиях его почти не печатали. Много времени он отдавал писанию автобиографии.

История этой работы своеобразна. Еще перед поездкою за границу он прочел в Петербурге лекцию – свои воспоминания о Блоке. Затем он эти воспоминания переделывал дважды, каждый раз значительно расширяя. Вторая из этих переделок, напечатанная в берлинском журнале «Эпопея», навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в воспоминания обо всей эпохе символизма. В Берлине он успел написать только первый том, рукопись которого осталась за границей и не была издана. В России Белый принялся за четвертую редакцию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рассказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под заглавием «На рубеже двух столетий». За ним, под заглавием «Начало века», последовал первый том мемуаров литературных. Тут произошел в Белом психологический сдвиг,

для него характерный. Еще в Берлине он жаловался на то, что работа, выраставшая из воспоминаний о Блоке, выходит слишком апологетической: Блок в ней приукрашен, «вычищен, как самовар». В Москве Белый решил исправить этот недостаток. Но в самое это время были опубликованы неприятные для него письма Блока – и он сорвался: апологию Блока стал превращать в издевательство над его памятью.

Он успел, однако же, написать еще один том, «Между двух революций», появившийся только в конце 1937 г., т. е. почти через три года после его смерти. В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть не со всеми прочими спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна своеобразная причина. Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии – все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии надо было все это отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь как поиски революционного мирозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей «между двух революций», он не только перед большевиками, но и перед самим собой (это и есть самое для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательного не только бунтовщика, но даже марксиста, или почти марксиста, рьяного борца с «гидрой капитализма». Между тем объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой концепции не соответствовали. Любой большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот, совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы совращали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких, ныне живущих в советской России. Будь они за границей – и им бы несдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарикатурировал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей.

Его замечательный дар сказался и тут: все вышли похожи на себя, но еще более – на персонажей «Петербурга» или «Москвы под ударом». Не сомневаюсь, что он работал с увлечением истинного художника – и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большею художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квазиисторические романы в действительности суть фантастические, ибо в них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастична и его автобиография. Больше того: они могли бы ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя как неисправимого мистика, ибо он не только сочинил, искажил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наймитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же «серия небывших событий», как его автобиографические романы.

Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее – не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема.

Умер он, как известно, 8 января 1934 г., от последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи:

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Владислав Ходасевич
Париж, 1934–1938

Петербург

Пролог

Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!

.....

Что есть Русская Империя наша?

Русская Империя наша есть географическое единство, что значит: часть известной планеты. И Русская Империя заключает: во-первых – великую, малую, белую и червонную Русь; во-вторых – грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в-третьих, она заключает... Но – прочая, прочая, прочая.

Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных; и далее: – из первопрестольного града и матери градов русских.

Град первопрестольный – Москва; и мать градов русских есть Киев.

Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что – то же) подлинно принадлежит Российской Империи. А Царьград, Константиноград (или, как говорят, Константинополь), принадлежит по праву наследия. И о нем распространяться не будем.

Распространимся более о Петербурге: есть – Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что – то же). На основании тех же суждений Невский Проспект есть петербургский Проспект.

Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов – и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть – гм... да: ...для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения.

Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он – европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да...

Потому что Невский Проспект – прямолинейный проспект.

Невский Проспект – немаловажный проспект в сем не русском – столичном – граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.

И разительно от них всех отличается Петербург.

Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду – существование полуторамиллионного московского населения – то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург.

Если же Петербург не столица, то – нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается – на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он – есть: оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.

Глава первая, в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия

*Была ужасная пора.
О ней свежо воспоминанье.
О ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье, —
Печален будет мой рассказ.*

А. Пушкин

Аполлон Аполлонович Аблеухов

Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода: он имел своим предком Адама. И это не главное: несравненно важнее здесь то, что благородно рожденный предок был Сим, то есть сам прародитель семитских, хесситских и краснокожих народностей.

Здесь мы сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи.

Эти предки (так кажется) проживали в киргиз-кайсацкой орде, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу мирза Аб-Лай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Так о сем выходе из недр монгольского племени распространяется *Гербовник Российской Империи*. Для краткости после был превращен Аб-Лай-Ухов в Аблеухова просто.

Этот прапрадед, как говорят, оказался истоком рода.

.....

Серый лакей с золотым галуном пуховкою стряхивал пыль с письменного стола; в открытую дверь заглянул колпак повара.

— «Сам-то, вишь, встал...»

— «Обтираются одеколоном, скоро пожалуют к кофию...»

— «Утром почтарь говорил, будто барину — письмецо из Гишпании: с гишпанскою маркою».

— «Я вам вот что замечу: меньше бы вы в письма-то совали свой нос...»

— «Стало быть: Анна Петровна...»

— «Ну и — стало быть...»

— «Да я, так себе... Я — что: ничего...»

Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Аблеухов прошествовал в кабинет.

.....

Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение: придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил... пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости, прежде чем сообразить, что в руках у него пресс-папье, а не карандаш.

Рассеянность проистекала оттого, что в сей миг его осенила глубокая дума; и тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный ход (Аполлон Аполлонович спешил в *Учреждение*). В «*Дневнике*», долженствующем появиться в год его смерти в повременных изданиях, стало страничку больше.

Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович записывал быстро: записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофей свой.

Предварительно с какою-то неприятной настойчивостью стал допрашивать он камерди-
нера старика:

– «Николай Аполлонович встал?»

– «Никак нет: еще не вставали...»

Аполлон Аполлонович недовольно потер переносицу:

– «Ээ... скажите: когда же – скажите – Николай Аполлонович, так сказать...»

– «Да встанут они поздновато-с...»

– «Ну, как поздновато?»

И тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы.

Было ровно половина десятого.

В десять часов он, старик, уезжал в Учреждение. Николай Аполлонович, юноша, подни-
мался с постели – через два часа после. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробужде-
ния. И каждое утро он морщился.

Николай Аполлонович был сенаторский сын.

Словом, был он главой учреждения...

Аполлон Аполлонович Аблеухов отличался поступками доблести; не одна упала звезда
на его золотом расшитую грудь: звезда Станислава и Анны, и даже: даже Белый Орел.

Лента, носимая им, была синяя лента. А недавно из лаковой красной коробочки на оби-
талище патриотических чувств воссияли лучи бриллиантовых знаков, то есть орденский знак:
Александра Невского.

Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица?

Думаю, что вопрос достаточно неуместен: Аблеухова знала Россия по отменной про-
странности им произносимых речей; эти речи, не разрываясь, сверкали и безгромно струили
какие-то яды на враждебную партию, в результате чего предложение партии там, где следует,
отклонялось. С водворением Аблеухова на ответственный пост департамент девятый бездей-
ствовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и, где
нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок (департамент девятый
за ввоз не стоял). Речи сенатора облетели все области и губернии, из которых иная в простран-
ственном отношении не уступит Германии.

Аполлон Аполлонович был главой Учреждения: ну, того... как его?

Словом, был главой Учреждения, разумеется, известного вам.

Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с
неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было б надолго, пожалуй,
предаться наивному удивлению; но ведь вот – удивлялись решительно все взрыву умственных
сил, источаемых этою вот черепною коробкою наперекор всей России, наперекор большинству
департаментов, за исключением одного: но глава того департамента, вот уж скоро два года,
замолчал по воле судеб под плитой гробовой.

Моему сенатору только что исполнилось шестьдесят восемь лет; и лицо его, бледное,
напоминало и серое пресс-папье (в минуту торжественную), и – папье-маше (в час досуга);
каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости каза-
лись синей и громадней.

От себя еще скажем: Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании
совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей
России. Так был он недавно изображен: на заглавном листе уличного юмористического жур-
нальчика, одного из тех «*жидовских*» журнальчиков, кровавые обложки которых на кишачих
людом проспектах размножались в те дни с паразитической быстротой...

Северо-восток

В дубовой столовой раздавалось хрипенье часов; кланяясь и шипя, куковала серенькая кукушка; по знаку старинной кукушки сел Аполлон Аполлонович перед фарфоровой чашкою и отламывал теплые корочки белого хлеба. И за кофею свои прежние годы вспоминал Аполлон Аполлонович; и за кофею – даже, даже – пошучивал он:

– «Кто всех, Семеныч, почтеннее?»

– «Полагаю я, Аполлон Аполлонович, что почтеннее всех – действительный тайный советник».

Аполлон Аполлонович улыбнулся одними губами:

– «И не так полагаете: всех почтеннее – трубочист...»

Камердинер знал уже окончание каламбура: но об этом он из почтения – молчок.

– «Почему же, барин, осмелюсь спросить, такая честь трубочисту?»

– «Пред действительным тайным советником, Семеныч, сторонятся...»

– «Полагаю, что – так, ваше высокопрев-ство...»

– «Трубочист... Перед ним посторонится и действительный тайный советник, потому что: запачкает трубочист».

– «Вот оно как-с», – вставил почтительно камердинер...

– «Так-то вот: только есть должность почтеннее...»

И тут же прибавил:

– «Ватерклозетчика...»

– «Пфф!...»

– «Сам трубочист перед ним посторонится, а не только действительный тайный советник...»

И – глоток кофея. Но заметим же: Аполлон Аполлонович был ведь сам – действительный тайный советник.

– «Вот-с, Аполлон Аполлонович, тоже бывало: Анна Петровна мне сказывала...»

При словах же «Анна Петровна» седой камердинер осекся.

– «Пальто серое-с?»

– «Пальто серое...»

– «Полагаю я, что серые и перчатки-с?»

– «Нет, перчатки мне замшевые...»

– «Потрудитесь, ваше высокопревосходительство, обождать-с: ведь перчатки-то у нас в шифоньерке: полка б е – северо-запад».

Аполлон Аполлонович только раз вошел в мелочи жизни: он однажды проделал ревизию своему инвентарю; инвентарь был зарегистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: а, бе, це; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света.

Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким, бисерным почерком: очки, полка – бе и СВ, то есть северо-восток; копию же с реестра получил камердинер, который и вытвердил направления принадлежностей драгоценного туалета; направления эти порою во время бессонницы безошибочно он скандировал наизусть.

.....

В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно; тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно: событиями не гремели они; не блистали в сердца очистительно стрелами молний; но из хриплого горла струей ядовитых флюидов вырывали воздух они; и крутились в сознании обитателей мозговые какие-то игры, как густые пары в герметически закупоренных котлах.

Барон, борона

Со стола поднялась холодная длинноногая бронза; ламповый абажур не сверкал фиолетово-розовым тоном, расписанным тонко: секрет этой краски девятнадцатый век потерял; стекло потемнело от времени; тонкая роспись потемнела от времени тоже.

Золотые трюмо в оконных простенках отовсюду плотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал; и вон то – увенчивал крылышком золотощекий амурчик; и вон там – золотого венка и лавры, и розаны прободали тяжелые пламена факелов. Меж трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик.

Аполлон Аполлонович распахнул быстро дверь, опираясь рукой на хрустальную, граненую ручку; по блистающим плитам паркетиков застучал его шаг; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушек; безделушечки эти вывезли они из Венеции, он и Анна Петровна, тому назад – тридцать лет. Воспоминания о туманной лагуне, гондоле и арии, рыдающей в отдалении, промелькнули некстати так в сенаторской голове... Тотчас же глаза перевел на рояль он.

С желтой лаковой крышки там разблистались листики бронзовой инкрустации; и опять (докучная память!) Аполлон Аполлонович вспомнил: белую петербургскую ночь; в окнах широкая там бежала река; и стояла луна; и гремела рулада Шопена: помнится – игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна...

Разблистались листики инкрустации – перламутра и бронзы – на коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон Аполлонович уселся в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сиденья завивались веночки, и с китайского он подносика ухватился рукою за пачку нераспечатанных писем; наклонилась к конвертам лысая его голова. В ожидании лакея с неизменным «лошади поданы» углублялся он здесь, перед отъездом на службу, в чтение утренней корреспонденции. Так же он поступил и сегодня.

И конвертики разрывались: за конвертом конверт; обыкновенный, почтовый – марка наклеена косо, неразборчивый почерк.

– «Мм... Так-с, так-с, так-с: очень хорошо-с...»

И конверт был бережно спрятан.

– «Мм... Просьба...»

– «Просьба и просьба...»

Конверты разрывались небрежно; это – со временем, потом: как-нибудь...

Конверт из массивной серой бумаги – запечатанный, с вензелем, без марки и с печатью на сургуче.

– «Мм... Граф Дубльве... Что такое?... Просит принять в Учреждении... Личное дело...»

– «Ммм... Ага!...»

Граф Дубльве, начальник девятого департамента, был противник сенатора и враг хуторского хозяйства.

Далее... Бледно-розовый, миниатюрный конвертик; рука сенатора дрогнула; он узнал этот почерк – почерк Анны Петровны; он разглядывал испанскую марку, но конверта не распечатал:

– «Мм... деньги...»

– «Деньги были же посланы?»

– «Деньги посланы будут!!...»

– «Гм... Записать...»

Аполлон Аполлонович, думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костяную щеточку для ногтей и ею же собирался сделать пометку «отослать обратно по адресу», как...

– «?...»

– «Поданы-с...»

Аполлон Аполлонович поднял лысую голову и прошел вон из комнаты.

.....

На стенах висели картины, отливая масляным лоском; и с трудом через лоск можно было увидеть французеноч, напоминавших гречаноч, в узких туниках былых времен Директории и в высочайших прическах.

Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида «Distribution des aigles par Napoleon premier». Картина изображала великого Императора в венке и горностайной порфире; к пернатому собранию маршалов простирал свою руку Император Наполеон; другая рука зажимала жезл металлический; на верхушку жезла сел тяжелый орел.

Холодно было великолепию гостиной от полного отсутствия ковриков: блистали паркеты; если бы солнце на миг осветило их, то глаза бы невольно зажмурились. Холодно было гостеприимство гостиной.

Но сенатором Аблеуховым оно возводилось в принцип.

Оно запечатлевалось: в хозяине, в статуях, в слугах, даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то близ кухни; в этом доме конфузились все, уступая место паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузясь и глотая слова: угождали и кланялись, и кидались друг к другу – на гулких этих паркетах; и ломали холодные пальцы в порыве бесплодных угодливостей.

С отъезда Анны Петровны: безмолвствовала гостиная, опустилась крышка рояля: не гремела рулада.

Да – по поводу Анны Петровны, или (проще сказать) по поводу письма из Испании: едва Аполлон Аполлонович прошествовал мимо, как два юрких лакейчика затараторили быстро.

- «Письмо не прочел...»
- «Как же: станет читать он...»
- «Отошлет?»
- «Да уж видно...»
- «Эдакий, прости Господи, камень...»
- «Вы, я вам скажу, тоже: соблюдали бы вы словесную деликатность».

.....

Когда Аполлон Аполлонович спускался в переднюю, то его седой камердинер, спускаясь в переднюю тоже, снизу вверх поглядывал на почтенные уши, сжимая в руке табакерку – подарок министра.

Аполлон Аполлонович остановился на лестнице и подыскивал слово.

- «Мм... Послушайте...»
- «Ваше высокопревосходительство?»
- Аполлон Аполлонович подыскивал подходящее слово:
- «Что вообще – да – поделывает... поделывает...»
- «?...»
- «Николай Аполлонович».
- «Ничего себе, Аполлон Аполлонович, здравствуют...»
- «А еще?»
- «По-прежнему: затворяться изволят и книжки читают».
- «И книжки?»
- «Потом еще гуляют по комнатам-с...»
- «Гуляют – да, да... И... И? Как?»
- «Гуляют... В халате-с!...»
- «Читают, гуляют... Так... Дальше?»
- «Вчера они поджидали к себе...»
- «Поджидали кого?»

- «Костюмера...»
- «Какой такой костюмер?»
- «Костюмер-с...»
- «Гм-гм... Для чего же такого?»
- «Я так полагаю, что они поедут на бал...»

.....

- «Ага – так: поедут на бал...»

Аполлон Аполлонович потер себе переносицу: лицо его просветилось улыбкой и стало вдруг старческим:

- «Вы из крестьян?»
- «Точно так-с!»
- «Ну, так вы – знаете ли – барон».
- «?»
- «Борона у вас есть?»
- «Борона была-с у родителя».
- «Ну, вот видите, а еще говорите...»

Аполлон Аполлонович, взяв цилиндр, прошел в открытую дверь.

Карета пролетела в туман

Изморось поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши; низвергалась холодными струйкам с жестяных желобов.

Изморось поливала прохожих: награждала их гриппами; вместе с тонкою пылью дождя инфлуэнцы и гриппы заползали под приподнятый воротник: гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта; и субъект (так сказать, обыватель) озирался тоскливо; и глядел на проспект стерто-серым лицом; циркулировал он в бесконечность проспектов, преодолевал бесконечность, без всякого ропота – в бесконечном токе таких же, как он, – среди лета, грохота, трепетанья, пролеток, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулад и нарастающий гул желто-красных трамваев (гул потом убывающий снова), в непрерывном окрике голосистых газетчиков.

Из одной бесконечности убежал он в другую; и потом спотыкался о набережную; здесь приканчивалось все: мелодичный глас автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект; здесь был и край земли, и конец бесконечностям.

А там-то, там-то: глубина, зеленоватая муть; издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова; принизились земли; и принизились здания; казалось – опустятся воды и хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; а над этою зеленоватою мутью в тумане гремел и дрожал, вон туда бегая, черный, черный такой Николаевский Мост.

В это хмурое петербургское утро распахнулись тяжелые двери роскошного желтого дома: желтый дом окнами выходил на Неву. Бритый лакей с золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру. Серые в яблоках кони рванулись к подъезду; подкатили карету, на которой был выведен стародворянский герб: единорог, прободающий рыцаря.

Молодцеватый квартальный, проходивший мимо крыльца, поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из подъезда и еще быстрее вбежал на подножку кареты, на ходу надевая черную замшевую перчатку.

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, растерянный взгляд на квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой черный мост, на пространство Невы, где

так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Серый лакей поспешно хлопнул каретною дверцею. Карета стремительно пролетела в туман; и случайный квартальный, потрясенный всем виденным, долго-долго глядел чрез плечо в грязноватый туман – туда, куда стремительно пролетела карета; и вздохнул, и пошел; скоро скрылось в тумане и это плечо квартального, как скрывались в тумане все плечи, все спины, все серые лица и все черные, мокрые зонты. Посмотрел туда же и почтенный лакей, посмотрел направо, налево, на мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Здесь, в самом начале, должен я прервать нить моего повествования, чтоб представить читателю местодействие одной драмы. Предварительно следует исправить вкравшуюся неточность; в ней повинен не автор, а авторское перо: в это время трамвай еще не бегал по городу: это был тысяча девятьсот пятый год.

Квадраты, параллелепипеды, кубы

– «Гей, Гей...»

Это покрикивал кучер...

И карета разбрызгивала во все стороны грязь. Там, где взвесилась только одна туманная сырость, матово намечался сперва, потом с неба на землю спустился – грязноватый, черновато-серый Исакий; намечался и вовсе наметился: конный памятник Императора Николая; металлический Император был в форме Лейб-Гвардии; у подножия из тумана просунулся и в туман обратно ушел косматою шапкою николаевский grenadier.

Карета же пролетела на Невский.

Аполлон Аполлонович Аблеухов покачивался на атласных подушках сиденья; от уличной мрази его отграничили четыре перпендикулярные стенки; так он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнувших красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка.

Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса.

Гармонической простотой отличались его вкусы.

Более всего он любил прямолинейный проспект; этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек; и еще об одном: иные все города представляют собой деревянную кучу домишек, и разительно от них всех отличается Петербург.

Мокрый, скользкий проспект: там дома сливались кубами в планомерный, пятиэтажный ряд; этот ряд отличался от линии жизненной лишь в одном отношении: не было у этого ряда ни конца, ни начала; здесь середина жизненных странствий носителя бриллиантовых знаков оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути.

Всякий раз вдохновение овладевало душою сенатора, как стрелою линию Невского разрезал его лакированный куб: там, за окнами, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда – в ясные дни издалека-далека, сверкали слепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни, – ничего, никого.

А там были – линии: Нева, острова. Верно в те далекие дни, как вставали из мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, проникая зубцами своими промозглый, зеленоватый туман —

– на теневых своих парусах полетел к Петербургу оттуда Летучий Голландец из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли и назвать островами волну

набегающих облаков; адские огоньки кабачков двухсотлетие зажигал отсюда Голландец, а народ православный валил и валил в эти адские кабачки, разнося гнилую заразу...

Поотплывали темные тени. Адские кабачки же остались. С призраком долгие годы здесь бражничал православный народ: род ублюдочный пошел с островов – ни люди, ни тени, – оседая на грани двух друг другу чуждых миров.

Аполлон Аполлонович островов не любил: население там – фабричное, грубое; многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам; и теперь вот он знал, что там циркулирует браунинг; и еще кое-что. Аполлон Аполлонович думал: жители островов причислены к народонаселению Российской Империи; всеобщая перепись введена и у них; у них есть нумерованные дома, участки, казенные учреждения; житель острова – адвокат, писатель, рабочий, полицейский чиновник; он считает себя петербуржцем, но он, обитатель хаоса, угрожает столице Империи в набегающем облаке...

Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: непокойные острова – раздавить, раздавить! Приковать их к земле железом огромного моста и проткнуть во всех направлениях проспектными стрелами...

И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу – за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы... чтобы...

После линии всех симметричностей успокаивала его фигура – квадрат.

Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса.

Зигзагообразной же линии он не мог выносить.

Здесь, в карете, Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу без дум четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого куба: Аполлон Аполлонович был рожден для одиночного заключения; лишь любовь к государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста.

.....

Мокрый, скользкий проспект пересекался мокрым проспектом под прямым, девяностоградусным углом; в точке пересечения линий стал городской...

И так же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман. Сосредоточенно побежали там лица; тротуары шептались и шаркали; растирались калошами; плыл торжественно обывательский нос. Носы протекали во множестве: орлиные, утиные, петушинные, зеленоватые, белые; протекало здесь и отсутствие всякого носа. Здесь текли одиночки, и пары, и тройки – четверки; и за котелком котелок: котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.

Но параллельно с бегущим проспектом был бегущий проспект с все таким же рядом коробок, нумерацией, облаками; и тем же чиновником.

Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург – бесконечность проспекта, возведенного в энную степень.

За Петербургом же – ничего нет.

Жители островов поражают вас

Жители островов поражают вас какими-то воровскими ухватками; лица их зеленей и бледней всех земнородных существ; в скважину двери проникнет островитянин – какой-нибудь разночинец: может быть, с усиками; и того гляди выпросит – на вооружение фабрично-заводских рабочих; заговорит, зашепчется, захихикает: вы дадите; и потом не будете вы больше спать по ночам; заговорит, зашепчется, захихикает ваша комната: это он, житель острова – незнакомец с черными усиками, неуловимый, невидимый, его – нет как нет; он уж – в губернии; и глядишь – заговорят, зашепчутся там, в пространстве, уездные дали; загремит, заговорит в уездной дали там – Россия.

Был последний день сентября.

На Васильевском Острове, в глубине семнадцатой линии из тумана глядел дом огромный и серый; с двора в дом вводила черная, грязноватая лестница: были двери и двери; одна из них отворилась.

Незнакомец с черными усиками показался на пороге ее.

Затем, закрыв дверь, медленно стал незнакомец спускаться; он сходил с высоты пяти этажей, осторожно ступая по лестнице; в руке у него равномерно качался не то чтобы маленький, и все же не очень большой узелочек, перевязанный грязной салфеткой с красными каймами из линючих фазанов.

Мой незнакомец отнесся с отменной осторожностью в обращении с узелком.

Лестница была, само собой разумеется, черной, усеянной огуречными корками и многократно ногой продавленным капустным листом. Незнакомец с черными усиками на ней поскользнулся.

Одной рукой он тогда ухватился за лестничные перила, а другая рука (с узелком) растерянно описала в воздухе нервный зигзаг; но описыванье зигзага относилось, собственно, к локтю: незнакомец мой, очевидно, хотел охранить узелок от досадной случайности – от падения с размаху на каменную ступень, потому что в движении локтя проявилась воистину ловкая фортель акробата: деликатную хитрость движенья подсказывал некий инстинкт.

А затем в встрече с дворником, поднимавшимся вверх по лестнице с перекинутой чрез плечо охапкою осиновых дров и загородившим дорогу, незнакомец с черными усиками снова усиленно стал выказывать деликатное попечение о судьбе своего узелка, могущего зацепить за полено; предметы, хранимые в узелке, должны были быть предметами особенно хрупкими.

Не было бы иначе понятно поведение моего незнакомца.

Когда знаменательный незнакомец осторожно спустился к выходной черной двери, то черная кошка, оказавшаяся у ног, фыркнула и, задрав хвост, пересекла дорогу, роняя к ногам незнакомца куриную внутренность; лицо моего незнакомца передернуло судорога; голова же нервно закинулась, обнаружив нежную шею.

Эти движения были свойственны барышням доброго времени, когда барышни этого времени начинали испытывать жажду: подтвердить необычайным поступком интересную бледность лица, сообщенную выпиванием уксуса и сосанием лимонов.

И такие ж точно движенья отмечают подчас молодых, изнуренных бессонницей современников. Незнакомец такую бессонницею страдал: прокуренность его обиталища на то намекала; и о том же свидетельствовал синеватый отлив нежной кожи лица, – столь нежной кожи, что не будь незнакомец мой обладателем усиков, вы б, пожалуй, приняли незнакомца за перодетую барышню.

И вот незнакомец – на дворике, четырехугольнике, залитом сплошь асфальтом и ото всюду притиснутом пятью этажами многооконной громадины. Посредине двора были сложены

отсыревшие сажени осиновых дров; и был виден и отсюда кусок семнадцатой линии, обсти-
станной ветром.

Линии!

Только в вас осталась память петровского Петербурга.

Параллельные линии на болотах некогда провел Петр; линии те обросли то гранитом,
то каменным, а то деревянным забориком. От петровских правильных линий в Петербурге
следа не осталось; линия Петра превратилась в линию позднейшей эпохи: в екатерининскую
округленную линию, в александровский строй белокаменных колоннад.

Лишь здесь, меж громадин, остались петровские домики; вон бревенчатый домик; вон –
домик зеленый; вот – синий, одноэтажный, с ярко-красною вывеской «Столовая». Точно такие
вот домики раскидались здесь в стародавние времена. Здесь еще, прямо в нос, бьют разнооб-
разные запахи: пахнет солью морской, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой, и при-
бережным брезентом. Линии! Как они изменились: как их изменили эти суровые дни!

Незнакомец припомнил: в том вон окошке того глянцевого домика в летний вечер
июньский старушка жевала губами; с августа затворилось окошко; в сентябре принесли глаза-
товый гроб.

Он думал, что жизнь дорожает и рабочему люду будет скоро нечего есть; что оттуда, с
моста, вонзается сюда Петербург своими проспектными стрелами с ватагою каменных велика-
нов; ватага та великанов бесстыдно и нагло скоро уже похоронит на чердаках и в подвалах всю
островную бедноту.

Незнакомец мой с острова Петербург давно ненавидел: там, оттуда вставал Петербург
в волне облаков; и парили там здания; там над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и
темный, чье дыхание крепко обковывало льдом гранитов и камней некогда зеленые и кудрявые
острова; кто-то темный, грозный, холодный оттуда, из воющего хаоса, уставился каменным
взглядом, бил в сумасшедшем парении нетопыринными крыльями; и хлестал ответственным
словом островную бедноту, выдавая в тумане: черепом и ушами; так недавно был кто-то
изображен на обложке журнальчика.

Незнакомец это подумал и зажал в кармане кулак; вспомнил он циркуляр и вспомнил, что
падали листья: незнакомец мой все знал наизусть. Эти павшие листья – для скольких последние
листья: незнакомец мой стал – синеватая тень.

От себя же мы скажем: о русские люди, русские люди! Вы толпы скользящих теней с ост-
ровов к себе не пускайте. Бойтесь островитян! Они имеют право свободно селиться в Империи:
знать, для этого чрез летийские воды к островам перекинута черные и серые мосты. Разобрать
бы их...

Поздно...

Николаевский Мост полиция и не думала разводить; темные повалили тени по мосту;
между теми тенями и темная повалила по мосту тень незнакомца. В руке у нее равномерно
качался не то чтобы маленький, а все же не очень большой узелочек.

И, увидев, расширились, засветились, блеснули...

В зеленоватом освещении петербургского утра, в спасительном *«кажется»* пред сенато-
ром Аблеуховым циркулировал и обычный феномен: явление атмосферы – поток людской; тут
люди немели; потоки их, набегая волнообразным прибоем, – гремели, рычали; обычное ухо же
не воспринимало нисколько, что прибой тот людской есть прибой громовой.

Спаянный маревом сам в себе поток распадался на звенья потока: протекало звено за
звеном; умопостижимо каждое удалялось от каждого, как система планет от системы планет;
ближний к ближнему тут находился в таком же приблизительном отношении, в каковом нахо-
дится лучевой пучок небосвода в отношении к сетчатой оболочке, проводящей в мозговой

центр по нервному телеграфу смутную, звездную, промерцавшую весть. С предтекущей толпой престарелый сенатор сообщался при помощи проволок (телеграфных и телефонных); и поток теневой сознанию его предносился, как за далями мира спокойно текущая весть. Аполлон Аполлонович думал: о звездах, о невнятности пролетавшего громового потока; и, качаясь на черной подушке, высчитывал силу он света, воспринимаемого с Сатурна.

Вдруг... —

— лицо его сморщилось и передернулось тиком; судорожно закатились каменные глаза, обведенные синевой; кисти рук, одетые в черную замшу, подлетели на уровень груди, будто он защищался руками. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнувшись в стенку, упал на колени под оголенную головой...

Безотчетность сенаторского движения не поддавалась обычному толкованию; кодекс правил сенатора ничего такого не предусматривал...

Созерцающая текущие силуэты — котелки, перья, фуражки, фуражки, фуражки, перья — Аполлон Аполлонович уподоблял их точкам на небосводе; но одна из сих точек срываясь с орбиты, с головокружительной быстротой понеслась на него, принимая форму громадного и багрового шара, то есть, хочу я сказать: —

— созерцающая текущие силуэты (фуражки, фуражки перья), Аполлон Аполлонович из фуражек, из перьев, из котелков увидел с угла пару бешеных глаз: глаза выражали одно недопустимое свойство; глаза узнали сенатора; и, узнавши, сбесились; может быть, глаза поджидали с угла; и, увидев, расширились, засветились, блеснули.

Этот бешеный взгляд был сознательно брошенным взглядом и принадлежал разночинцу с черными усиками, в пальто с поднятым воротником; углубляясь впоследствии в подробности обстоятельства, Аполлон Аполлонович скорее, чем вспомнил, сообразил еще нечто: в правой руке разночинец держал перевязанный мокрой салфеткой узелок.

Дело было так просто: стиснутая потоком пролетов, карета остановилась у перекрестка (городовой там приподнял свою белую палочку); мимо шедший поток разночинцев, стиснутый пролетом пролетов, к потоку перпендикулярно летящих, пересекающих Невский, — этот поток теперь просто прижался к карете сенатора, нарушая иллюзию, будто он, Аполлон Аполлонович, пролетая по Невскому, пролетает за миллиардами верст от людской многоножки, попирающей тот же самый проспект: обеспокоенный, Аполлон Аполлонович вплотную придвинулся к стеклам кареты, увидевши, что всего-то он отделен от толпы тонкой стенкой и четырехвершковым пространством; тут увидел разночинца он; и стал спокойно рассматривать; что-то было достойное быть замеченным во всей невзрачной фигуре той; и наверное б физиономист, невзначай встретив на улице ту фигуру, остановился бы изумленный: и потом меж делами вспоминал бы то виденное лицо; особенность сего выражения заключалась лишь в трудности подвести то лицо под любую из существующих категорий — ни в чем более...

Наблюдение это промелькнуло бы в сенаторской голове, если бы наблюдение это продлилось с секунду; но оно не продлилось. Незнакомец поднял глаза и — за зеркальным каретным стеклом, от себя в четырехвершковом пространстве, увидел не лицо он, а... череп в цилиндре да огромное бледно-зеленое ухо.

В ту же четверть секунды сенатор увидел в глазах незнакомца — ту самую бескрайность хаоса, из которой исконно сенаторский дом дозирует туманная, многотрубная даль и Васильевский Остров.

Вот тогда-то вот глаза незнакомца расширились, засветились, блеснули; и тогда-то вот, отделенные четырехвершковым пространством и стенкой кареты, за стеклом быстро вскинулись руки, закрывая глаза.

Пролетела карета; с нею же пролетел Аполлон Аполлонович в те сырые пространства; там, оттуда – в ясные дни восходили прекрасно – золотая игла, облака и багровый закат; там, оттуда сегодня – рои грязноватых туманов.

Там, в роях грязноватого дыма, откинувшись к стенке кареты, в глазах видел он то же все: рои грязноватого дыма; сердце забилося; и ширилось, ширилось, ширилось; в груди родилось ощущение растущего, багрового шара, готового разорваться и раскидаться на части.

Аполлон Аполлонович Аблеухов страдал расширением сердца.

Все это длилось мгновенье.

Аполлон Аполлонович, машинально надевши цилиндр и замшевой черной рукою прижавшись к скакавшему сердцу, вновь отдался любимому созерцанию кубов, чтобы дать себе в происшедшем спокойный и разумный отчет.

Аполлон Аполлонович снова выглянул из кареты: то, что он видел теперь, изгладило бывшее: мокрый, скользкий проспект; мокрые, скользкие плиты, лихорадочно заблиставшие сентябrevским денечком!

.....

Кони остановились. Городовой отдал под козырек. За подъездным стеклом, под бородастой кариатидою, подпиравшей камни балкончика, Аполлон Аполлонович увидал то же все зрелище: там блистала медная, тяжкоглавая булава; на восьмидесятилетнее плечо там упала темная треуголка швейцара. Восьмидесятилетний швейцар засыпал над «Биржевкою». Так же он засыпал позавчера, вчера. Так же он спал роковое то пятилетие... Так же проспит пятилетие впредь.

Пять лет уж прошло с той поры, как Аполлон Аполлонович подкатил к Учреждению безответственным главой Учреждения: пять с лишком лет прошло с той поры! И были события: проволновался Китай и пал Порт-Артур. Но виденье годин – неизменно: восьмидесятилетнее плечо, галун, борода.

Дверь распахнулась: медная булава простучала. Аполлон Аполлонович из каретного дверца пронес каменный взор в широко открытый подъезд. И дверь затворилась.

Аполлон Аполлонович стоял и дышал.

– «Ваше высокопревосходительство... Сядьте-с... Ишь ты, как задыхаетесь...»

– «Все-то бегае, будто маленький мальчик...»

– «Посидите, ваше высокопревосходительство: отдышитесь...»

– «Так-то вот-с...»

– «Может... водицы?»

Но лицо именитого мужа просветилось, стало ребяческим, старческим; изошло все морщинами:

– «А скажите, пожалуйста: кто муж графини?»

– «Графини-с?.. А какой, позволю спросить?»

– «Нет, просто графини?»

– «?»

– «Муж графини – графин?»

«Хе-хе-хе-с...»

А уму непокорное сердце трепетало и билось; и от этого все кругом было: тем – да не тем...

Двух бедно одетых курсисточек...

Среди медленно протекающих толп протекал незнакомец; и вернее, он утек в совершенном смятении от того перекрестка, где потоком людским был притиснут он к черной карете, откуда уставились на него: череп, ухо, цилиндр.

Это ухо и этот череп!

Вспомнив их, незнакомец кинулся в бегство.

Протекала пара за парой: протекали тройки, четверки; от каждой под небо вздымался дымовой столб разговора, переплетаясь, сливаясь с дымовым, смежнобегущим столбом; пересекая столбы разговоров, незнакомец мой ловил их отрывки; из отрывков тех составлялись и фразы, и предложения.

Заплеталась нельская сплетня.

– «Вы знаете?» – пронеслось где-то справа и погасло в набегающем грохоте.

И потом вынырнуло опять:

– «Собираются...»

– «Что?»

– «Бросить...»

Зашушукало сзади.

Незнакомец с черными усиками, обернувшись, увидел: котелок, трость, пальто; уши, усы и нос...

– «В кого же?»

– «Кого, кого», – перешукнулось издали; и вот темная пара сказала:

– «Абл...»

И сказавши, пара прошла.

– «Аблеухова?»

– «В Аблеухова?!»

Но пара dokonчила где-то там...

– «Абл... ейка меня кк...исла...тою... попробуй...»

И пара икала.

Но незнакомец стоял, потрясенный всем слышанным:

– «Собираются?..»

– «Бросить?..»

– «В Абл...»

.....

– «Нет же: не собираются...»

.....

А кругом зашепталося:

– «Поскорее...»

И потом опять сзади:

– «Пора же...»

И пропавши за перекрестком, напало из нового перекрестка:

– «Пора... право...»

Незнакомец услышал не «право», а «прово-»; и dokonчил сам:

– «Прово-кация?!»

Провокация загуляла по Невскому. Провокация изменила смысл всех слышанных слов: провокацией наделила она невинное право; а «обл...ейка» она превратила в черт знает что:

– «В Абл...»

И незнакомец подумал:

«В Аблеухова».

Просто он от себя присоединил предлог *ве, ер*: присоединением буквы *ве* и *твердого знака* изменился невинный словесный обрывок в обрывок ужасного содержания; и что главное: присоединил предлог незнакомец.

Провокация, стало быть, в нем сидела самом; а он от нее убегал: убегал – от себя. Он был своей собственной тенью.

О, русские люди, русские люди!

Толпы зыбких теней не пускайте вы с острова: вкрадчиво тени те проникают в телесное обиталище ваше; проникают отсюда они в закоулки души: вы становитесь тенями клубообразно летящих туманов: те туманы летят искони из-за края земного: из свинцовых пространств волнами кипящего Балта; в туман искони там усталились громовые отверстия пушек.

В двенадцать часов, по традиции, глухой пушечный выстрел торжественно огласил Санкт-Петербург, столицу Российской Империи: все туманы разорвались и все тени рассеялись.

Лишь тень моя – неуловимый молодой человек – не сотрясся и не расплылся от выстрела, беспрепятственно совершая свой пробег до Невы. Вдруг чуткое ухо моего незнакомца услышало за спиною восторженный шепот:

– «Неуловимый!..»

– «Смотрите – Неуловимый!»

– «Какая смелость!..»

И когда, уличенный, повернулся он своим островным лицом, то увидел в упор на себя устремленные глазки двух бедно одетых курсисточек...

Да вы помолчите!..

– «Быбы... быбы...»

Так гроыхал мужчина за столиком: мужчина громадных размеров; кусок желтой семги он запикивал в рот и, давась, выкрикивал непонятности. Кажется он выкрикивал:

«Вы-бы...»

Но слышалось:

– «Бы-бы...»

И компания тощих пиджачников начинала визжать:

– «А-ахха-ха, аха-ха!..»

.....

Петербургская улица осенью пронизывает весь организм: леденит костный мозг и щекошет дрогнувший позвоночник; но как скоро с нее попадешь ты в теплое помещение, петербургская улица в жилах течет лихорадкой. Этой улицы свойство испытывал сейчас незнакомец, войдя в грязненькую переднюю, набитую туго: черными, синими, серыми, желтыми *польтами*, заливчатскими, вислоухими, кургузыми шапками и всевозможной калошей. Обдавала теплая сырость; в воздухе повисал белеющий пар: пар блинного запаха.

Получив обжигающий ладонь номерок от верхнего платья, разночинец с парюю усиков наконец вошел в зал...

– «А-а-а...»

Оглушили его сперва голоса.

.....

– «Ра-аа-ков... ааа... ах-ха-ха...»

– «Видите, видите, видите...»

– «Не говорите...»

– «Ме-емме...»

– «И водки...»

– «Да помилуйте... да подите... Да как бы не так...»

.....

Все то бросилось ему в лоб; за спиною же, с Невского, за ним вдогонку бежало:

– «Пора... право...»

– «Что право?»

- «Кация – акция – кассация...»
- «Бл...»
- «И водки...»

.....

Ресторанное помещение состояло из грязненькой комнатки; пол натирался мастикой; стены были расписаны рукой маляра, изображая там обломки шведской флотилии, с высоты которых в пространство рукой указывал Петр; и летели оттуда пространства синькою белогри-вых валов; в голове незнакомца же полетела карета, окруженная роем...

- «Пора...»
- «Собираются бросить...»
- «В Абл...»
- «Прав...»

Ах, праздные мысли!..

На стене красовался зеленый кудреватый шпинат, рисовавший зигзагами *плезир*ы петер-гофской натуры с пространствами, облаками и с сахарным куличом в виде стильного пави-льончика.

.....

- «Вам с пикончиком?»

Одутловатый хозяин из-за водочной стоечки обращался к нашему незнакомцу.

- «Нет, без пикону мне».

А сам думал: почему был испуганный взгляд – за каретным стеклом: выпучились, ока-менели и потом закрылись глаза; мертвая, бритая голова прокачалась и скрылась; из руки – черной замшевой – его по спине не огрел и злой бич жестокого слова; черная замшевая рука протряслась там безвластно; была она не рука, а... *ручоночка* ...

Он глядел: на прилавке сохла закуска, прокисали все какие-то вялые листики под стек-лянными колпаками с грудой третьеводнишних перепрелых котлеток.

- «Еще рюмку...»

.....

Там вдали посиживал праздно потеющий муж с преогромною кучерской бородою, в синей куртке, в смазных сапогах поверх серых солдатского цвета штанов. Праздно потеющий муж опрокидывал рюмочки; праздно потеющий муж подзывал вихрастого полового:

- «Чего извоетс?...»
- «Чаво бы нибудь...»
- «Дыньки-с?»
- «К шуту: мыло с сахаром твоя дынька...»
- «Бананчика-с?»
- «Неприличнава сорта фрухт...».
- «Астраханского винограду-с?»

.....

Трижды мой незнакомец проглотил терпкий бесцветно блистающий яд, которого дей-ствие напоминает действие улицы: пищевод и желудок лижут сухим языком его мстительные огни, а сознание, отделяясь от тела, будто ручка машинного рычага, начинает вертеться вокруг всего организма, просветляясь невероятно... на один только миг.

И сознание незнакомца на миг прояснилось: и он вспомнил: безработные голодали там; безработные там просили его; и он обещал им; и взял от них – да? Где узелочек? Вот он, вот – рядом, тут... Взял от них узелочек.

В самом деле: та невская встреча повышибла память.

.....

- «Арбузика-с?»

– «К шуту арбузик: только хруст на зубах; а во рту – хоть бы что...»

– «Ну так водочки...»

Но бородатый мужчина вдруг выпалил:

– «Мне вот чего: раков...»

.....

Незнакомец с черными усиками уселся за столик, поджидать ту особу, которая...

– «Не желаете ль рюмочку?»

Праздно потеющий бородач весело подмигнул.

– «Благодарствуйте...»

– «Отчего же-с?»

– «Да пил я...»

«Выпили бы и еще: в маём кумпанействе...»

Незнакомец мой что-то сообразил: подозрительно поглядел он на бородача, ухватился за мокренький узелочек, ухватился за оборванный листик (для газетного чтения); и им, будто бы невзначай, прикрыл узелочек.

– «Тульские будете?»

Незнакомец с неудовольствием оторвался от мысли и сказал с достаточной грубостью – сказал фистулою:

– «И вовсе не тульский...»

– «Аткелева ж?...»

– «Вам зачем?»

– «Так...»

– «Ну: из Москвы...»

И плечами пожавши, сердито он отвернулся.

.....

И он думал: нет, он не думал – думы думались сами, расширяясь и открывая картину: брезенты, канаты, селедки; и набитые чем-то кули: неизмеримость кулей; меж кулями в черную кожу одетый рабочий синеватой рукой себе на спину взваливал куль, выделяясь отчетливо на тумане, на летящих водных поверхностях; и куль глухо упал: со спины в нагруженную балками барку; за кулем – куль; рабочий же (знакомый рабочий) стоял над кулями и вытаскивал трубочку с пренелепо на ветре плясавшим одежды крылом.

– «По камерческой части?»

(Ах ты, Господи!)

– «Нет: просто – так...»

И сам сказал себе:

– «Сыщик...»

– «Вот оно: а мы в кучерах...»

.....

– «Шурин та мой у Кистинтина Кистинтиновича кучером...»

– «Ну и что ж?»

– «Да что ж: ничаво – здесь сваи...»

Ясное дело, что – сыщик: поскорее бы приходила особа.

Бородач между тем горемычно задумался над тарелкою несъеденных раков, крестя рот и протяжно зевая:

– «О, Господи, Господи!..»

О чем были думы? Васильевские? Кули и рабочий? Да – конечно: жизнь дорожает, рабочему нечего есть.

Почему? Потому что *черным мостом туда вонзается Петербург*; мостом и проспективными стрелами, – чтоб под кучами каменных гробов задавить бедноту; Петербург ненавидит

он; над полками проклятыми зданий, восстающими с того берега из волны облаков, – кто-то маленький воспарял из хаоса и плавал там черною точкою: все визжало оттуда и плакало:

– «Острова раздавить!..»

Он теперь только понял, что было на Невском Проспекте, чье зеленое ухо на него поглядело в расстоянии четырех вершков – за каретным стеклом; маленький там дрожащий смертёныш тою самою был летучею мышью, которая, воспаря, – мучительно, грозно и холодно, угрожала, визжала...

Вдруг – ...

Но о вдруг мы – впоследствии.

Письменный стол там стоял

Аполлон Аполлонович прицеливался к текущему деловому дню; во мгновение ока отчетливо пред ним восставали: доклады вчерашнего дня; отчетливо у себя на столе он представил сложенные бумаги, порядок их и на их бумагах им сделанные пометки, форму букв тех пометок, карандаш, которым с небрежностью на поля наносились: синее «дать *ходъ*» с хвостиком твердого знака, красное «*справка*» с росчерком на «а».

В краткий миг от департаментской лестницы до дверей кабинета Аполлон Аполлонович волею перемещал центр сознания; всякая мозговая игра отступала на край поля зрения, как вон те белесоватые разводы на белом фоне обоев: кучечка из параллельно положенных дел перемещалась в центр того поля, как вот только что в центр этот упавший портрет.

А – портрет? То есть: —

И нет его – и Русь оставил он...

Кто он? Сенатор? Аполлон Аполлонович Аблеухов? Да нет же: Вячеслав Константинович... А он, Аполлон Аполлонович?

И мнится – очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый...

Очередь – очередь: по очереди —

И над землей сошлись новы тучи
И ураган их...

Праздная мозговая игра!

Кучка бумаг выскочила на поверхность: Аполлон Аполлонович, прицелившись к текущему деловому дню, обратился к чиновнику:

– «Потрудитесь, Герман Германович, приготовить мне дело – то самое, как его...»

– «Дело дьякона Зракова с приложением вещественных доказательств в виде клока бороды?»

– «Нет, не это...»

– «Помещика Пузова, за номером?..»

– «Нет: дело об Ухтомских Ухабах...»

Только что он хотел открыть дверь, ведущую в кабинет, как он вспомнил (он было и вовсе забыл): да, да – глаза: расширились, удивились, сбесились – глаза разночинца... И зачем, зачем был зигзаг руки?.. Пренеприятный. И разночинца он как будто бы видел – где-то, когда-то: может быть, нигде, никогда...

Аполлон Аполлонович открыл дверь кабинета.

Письменный стол стоял на своем месте с кучкою деловых бумаг: в углу камин расщепался поленьями; собираясь погрузиться в работу, Аполлон Аполлонович грел у камина изящные руки, а мозговая игра, ограничивая поле сенаторского зрения, продолжала там воздвигать свои туманные плоскости.

Разночинца он видел

Николай Аполлонович...

Тут Аполлон Аполлонович...

– «Нет-с: позвольте».

– «?...»

– «Что за чертовщина?»

Аполлон Аполлонович остановился у двери, потому что – как же иначе?

Невинная мозговая игра самопроизвольно вновь вдвинулась в мозг, то есть в кучу бумаг и прошений: мозговую игру Аполлон Аполлонович счел бы разве обоями комнаты, в чьих пределах созревали проекты; Аполлон Аполлонович к произвольности мысленных сочетаний относился, как к плоскости: плоскость эта, однако, порой раздвигалась, пропускала в центр умственной жизни за сюрпризом (как, например, вот сейчас).

Аполлон Аполлонович вспомнил: разночинца однажды он видел.

Разночинца однажды он видел – представьте себе – у себя на дому.

Помнит: как-то спускался он с лестницы, отправляясь на выход; на лестнице Николай Аполлонович, перегнувшийся чрез перила, с кем-то весело разговаривал: о знакомствах Николая Аполлоновича государственный человек не считал себя вправе осведомляться; чувство такта естественно тогда помешало ему спросить напрямик:

– «А скажи-ка мне, Коленька, кто такое это тебя посещает, голубчик мой?»

Николай Аполлонович опустил бы глаза:

– «Да так себе, папаша: меня посещают...»

Разговор и прервался бы.

Оттого-то вот Аполлон Аполлонович не заинтересовался нисколько и личностью разночинца, там глядевшего из передней в своем темном пальто; у незнакомца были те самые черные усики и те самые поразительные глаза (вы такие бы точно глаза встретили ночью в московской часовне Великомученика Пантелеймона, что у Никольских ворот: – часовня прославлена исцелением бесноватых; вы такие бы точно глаза встретили бы на портрете, приложенном к биографии великого человека; и далее: в невропатической клинике и даже психиатрической).

Глаза и тогда; расширились, заиграли, блеснули; значит: то уже было когда-то, и, может быть, то повторится.

– «Обо всем – так-с, так-с...»

– «Надо будет...»

– «Навести точнейшую справку...»

Свои точнейшие справки получал государственный человек не прямым, а окольным путем.

.....

Аполлон Аполлонович посмотрел за дверь кабинета: письменные столы, письменные столы! Кучи дел! К делам склоненные головы! Скрипы перьев! Шорохи переворачиваемых листов! Какое кипучее и могучее бумажное производство!

Аполлон Аполлонович успокоился и погрузился в работу.

Странные свойства

Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами: черепная коробка его становилась чревом мысленных образов, воплощавшихся тотчас же в этот призрачный мир.

Приняв во внимание это странное, весьма странное, чрезвычайно странное обстоятельство, лучше бы Аполлон Аполлонович не откидывал от себя ни одной праздной мысли, продолжая и праздные мысли носить в своей голове: ибо каждая праздная мысль развивалась упорно в пространственно-временной образ, продолжая свои – теперь уже бесконтрольные – действия вне сенаторской головы.

Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: из его головы вытекали боги, богини и гении. Мы уже видели: один такой гений (незнакомец с черными усиками), возникая как образ, *забытийствовал* далее прямо уже в желтоватых невских пространствах, утверждая, что вышел он – из них именно: не из сенаторской головы; праздные мысли оказались и у этого незнакомца; и те праздные мысли обладали все теми же свойствами.

Убегали и упрочнялись.

И одна такая бежавшая мысль незнакомца была мыслью о том, что он, незнакомец, существует действительно; эта мысль с Невского забежала обратно в сенаторский мозг и там упрочила сознание, будто самое бытие незнакомца в голове этой – иллюзорное бытие.

Так круг замкнулся.

Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: едва из его головы родилась вооруженная узелком Незнакомец-Паллада, как полезла оттуда другая, такая же точно Паллада.

Палладюю этою был сенаторский дом.

Каменная громада убежала из мозга; и вот дом открывает гостеприимную дверь – нам.

.....

Лакей поднимался по лестнице; страдал он одышкой, не в нем теперь дело, а в... лестнице: прекрасная лестница! На ней же – ступени: мягкие, как мозговые извилины. Но не успеет автор читателю описать ту самую лестницу, по которой не раз поднимались министры (он ее опишет потом), потому что – лакей уже в зале...

И опять-таки – зала: прекрасная! Окна и стены: стены немного холодные... Но лакей был в гостинной (гостиную видели мы).

Мы окинули прекрасное обиталище, руководствуясь общим признаком, коим сенатор привык наделять все предметы.

Так: —

– в кои веки попав на цветущее лоно природы, Аполлон Аполлонович видел то же и здесь, что и мы; то есть: видел он – цветущее лоно природы; но для нас это лоно распадалось мгновенно на признаки: на фиалки, на лютики, одуванчики и гвоздики; но сенатор отдельности эти возводил вновь к единству. Мы сказали б конечно:

– «Вот лютик!»

– «Вот незабудочка...»

Аполлон Аполлонович говорил и просто, и кратко:

– «Цветы...»

– «Цветок...»

Между нами будь сказано: Аполлон Аполлонович все цветы одинаково почему-то считал колокольчиками... —

С лаконической краткостью охарактеризовал бы он свой собственный дом, для него состоявший из стен (образующих квадраты и кубы), из прорезанных окон, паркетов, стульев, столов; далее – начинались детали...

Лакей вступил в коридор...

И тут не мешает нам вспомнить: промелькнувшие мимо (картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков), – словом, все, промелькнувшее мимо, не могло иметь пространственной формы: все то было одним раздражением мозговой оболочки, если только не было хроническим недомоганием... может быть, мозжечка. Строилась иллюзия комнаты; и потом разлеталась бесследно, воздвигая за гранью сознания свои туманные плоскости; и когда захлопнул лакей за собой гостинные тяжелые двери, когда он стучал сапогами по гулкому коридорчику, это только стучало в висках: Аполлон Аполлонович страдал геморроидальными приливами крови.

За захлопнутой дверью не оказалось гостиной: оказались... мозговые пространства: извилины, серое и белое вещество, шишковидная железа; а тяжелые стены, состоявшие из искристых брызг (обусловленных приливом), – голые стены были только свинцовым и болевым ощущением: затылочной, лобной, височных и темянных костей, принадлежащих почтенному черепу.

Дом – каменная громада – не домом был; каменная громада была Сенаторской Головой: Аполлон Аполлонович сидел за столом, над делами, удрученный мигренью, с ощущением, будто его голова в шесть раз больше, чем следует, и в двенадцать раз тяжелее, чем следует. Странные, весьма странные, чрезвычайно странные свойства!

Наша роль

Петербургские улицы обладают несомненным свойством: превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в людей.

Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем.

Он, возникши, как мысль, в сенаторской голове, почему-то связался и с собственным сенаторским домом; там всплыл он в памяти; более же всего упрочнился он на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем скромном рассказе.

От перекрестка до ресторанчика на Миллионной описали мы путь незнакомца; описали мы, далее, самое сидение в ресторанчике до пресловутого слова «*вдруг*», которым все прервалось: вдруг с незнакомцем случилось там что-то; какое-то неприятное ощущение посетило его.

Обследуем теперь его душу; но прежде обследуем ресторанчик; даже окрестности ресторанчика; на то есть у нас основание; ведь если мы, автор, с педантичной точностью отмечаем путь первого встречного, то читатель нам верит: поступок наш оправдается в будущем. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Аблеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно бы следовал по стопам незнакомца; славный сенатор и сам бы взялся за телефонную трубку, чтоб посредством ее передать, куда следует, свою мысль; к счастью для себя, он не знал обиталища незнакомца (а мы же обиталище знаем). Мы идем навстречу сенатору; и пока легкомысленный агент бездействует в своем отделении, этим агентом будем мы.

Позвольте, позвольте...

Не попали ли мы сами впросак? Ну, какой в самом деле мы агент? Агент – есть. И не дремлет он, ей-богу, не дремлет. Роль наша оказалась праздною ролью.

Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика и нас охватило желание туда воспоследовать тоже, мы обернулись и увидели два силуэта, медленно пересекавших туман; один из двух силуэтов был довольно толст и высок, явственно выделяясь сложением; но лица силуэта мы не

могли разобрать (силуэты лиц не имеют); все же мы разглядели: новый, шелковый, распушенный зонт, ослепительно блестящие калоши да полукотиковую шапку с наушниками.

Паршивенькая фигурка низкорослого господинчика составляла главное содержание силуэта второго; лицо силуэта было достаточно видно: но лица также мы не успели увидеть, ибо мы удивились огромности его бородавки: так лицевую субстанцию заслонила от нас нахальная акциденция (как подобает ей действовать в этом мире теней).

Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару, пред ресторанною дверью та темная пара остановилась и сказала несколько слов на человеческом языке:

- «Гм?»
- «Здесь...»
- «Так я и думал: меры приняты; это на случай, если бы вы его мне не показали у моста».
- «А какие вы приняли меры?..»
- «Да я там, в ресторанчике, посадил человека».
- «Ах, напрасно вы принимаете меры! Я же вам говорил, говорил: сто раз говорил...»
- «Простите, это я из усердия...»
- «Вы бы прежде посоветовались со мной... Ваши меры прекрасны...»
- «Сами же вы говорите...»
- «Да, но ваши прекрасные меры...»
- «Гм...»
- «Что?.. Ваши прекрасные меры – перепутают все...»

.....

Пара прошла пять шагов, остановилась; и опять сказала несколько слов на человеческом языке.

- «Гм!.. Придется мне... Гм!.. Пожелать теперь вам успеха...»
- «Ну какое же может быть в том сомнение: предприятие поставлено, как часовой механизм; если б я теперь не стоял за всем этим делом, то, поверьте мне дружески: дело – в шляпе».
- «Гм?»
- «Что такое вы говорите?»
- «Проклятый насморк».
- «Я же о деле...»
- «Гм...»
- «Души настроены, как инструменты: и составляют концерт – что такое вы говорите? Дирижеру из-за кулис остается взмахивать палочкой. Сенатору Аблеухову издать циркуляр, Неуловимому же предстоит...»

– «Проклятый насморк...»

– «Николаю Аполлоновичу предстоит... Словом: концертное трио, где Россия – партер. Вы меня понимаете? Понимаете? Что же вы все молчите?»

«Послушайте: брали бы жалованье...»

.....

- «Нет, вы меня не поймете!»
- «Пойму: гм-гм-гм – положительно не хватает платков».
- «Что такое?»
- «Да насморк же!.. А зверь – гм-гм-гм – не уйдет?»
- «Ну, куда ему...»
- «А то брали бы жалованье...»
- «Жалованье! Я служу не за жалованье: я артист, понимаете ли, – артист!»
- «Своего рода...»
- «Что такое?»
- «Ничего: лечусь сальной свечкой».

Фигурка повынимала иссморканный носовой платок и опять чмыхала носом.

– «Я же о деле! Так-таки передайте им, что Николай Аполлонович обещание дал...»

– «Сальная свечка прекрасное средство от насморка...»

– «Расскажите им все, что вы слышали от меня: дело это поставлено...»

– «Вечером намажешь ноздрю, утром – как рукой сняло...»

– «Дело поставлено, опять-таки говорю, как часов...»

– «Нос очищен, дышишь свободно...»

– «Как часовой механизм!...»

– «А?»

– «Часовой, черт возьми, механизм».

– «Заложило ухо: не слышу».

– «Ча-со-вой ме-ха-...»

– «Апчхи!...»

Под бородавкою загулял вновь платочек: две тени медленно утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка в полукотиковой шапке с наушниками показалась опять из тумана, посмотрела рассеянно на петропавловский шпиг.

И вошла в рестораник.

И притом лицо лоснилось

Читатель!

«Вдруг» знакомы тебе. Почему же, как страус, ты прячешь голову в перья при приближении рокового и неотвратного «вдруг»? Заговори с тобою о «вдруг» посторонний, ты скажешь, наверное:

– «Милостивый государь, извините меня: вы, должно быть, отъявленный декадент».

И меня, наверное, уличишь в декадентстве.

Ты и сейчас предо мною, как страус; но тщетно ты прячешься – ты прекрасно меня понимаешь; понимаешь ты и неотвратимое «вдруг».

Слушай же...

Твое «вдруг» крадется за твоею спиной, иногда же оно предшествует твоему появлению в комнате; в первом случае ты обеспокоен ужасно: в спине развивается неприятное ощущение, будто в спину твою, как в открытую дверь, повалилась ватага невидимых; ты обертываешься и просишь хозяйку:

– «Сударыня, не позволите ли закрыть дверь; у меня особое нервное ощущение: я спиною терпеть не могу сидеть к открытым дверям».

Ты смеешься, она смеется.

Иногда же при входе в гостиную тебя встретят всеобщим:

– «А мы только что вас поминали...»

И ты отвечаешь:

– «Это, верно, сердце сердцу подало весть».

Все смеются. Ты тоже смеешься: будто не было тут «вдруг».

Иногда же чуждое «вдруг» поглядит на тебя из-за плеч собеседника, пожелая снюхаться с «вдруг» твоим собственным. Меж тобою и собеседником что-то такое пройдет, отчего ты вдруг запорхаешь глазами, собеседник же станет суше. Он чего-то потом тебе во всю жизнь не простит.

Твое «вдруг» кормится твоею мозговою игрою; гнусности твоих мыслей, как пес, оно пожирает охотно; распухает оно, таешь ты, как свеча; если гнусны твои мысли и трепет овладевает тобою, то «вдруг», обожравшись всеми видами гнусностей, как откормленный, но невидимый пес, всюду тебе начинает предшествовать, вызывая у постороннего наблюдателя впе-

чатление, будто ты занавешен от взора черным, взору невидимым облаком: это есть косматое «вдруг», верный твой домовый (знал я несчастного, которого черное облако чуть ли не видимо взору: он был литератором...).

.....

Мы оставили в ресторанчике незнакомца. *Вдруг* незнакомец обернулся стремительно; ему показалось, что некая гадкая слизь, проникая за воротничок, потекла по его позвоночнику. Но когда обернулся он, за спиною не было никого: мрачно как-то зияла дверь ресторанного входа; и оттуда, из двери, повалило *невидимое*.

Тут он сообразил: по лестнице поднималась, конечно, им поджидаемая особа; вот-вот войдет; но она не входила; в дверях не было никого.

А когда незнакомец мой отвернулся от двери, то в дверь вошел тотчас же неприятный толстяк; и, идя к незнакомцу, поскрипывал он половицею; желтоватое, бритое, чуть-чуть наклоненное набок лицо плавно плавало в своем собственном втором подбородке; и притом лицо лоснилось.

Тут незнакомец мой обернулся и вздрогнул: *особа* дружески помахала ему полукотиковой шапкой с наушниками:

– «Александр Иванович...»

– «Липпанченко!»

– «Я – самый...»

– «Липпанченко, вы меня заставляете ждать».

Шейный воротничок у особы был повязан галстуком – атласно-красным, кричащим и заколотым крупным стразом, полосатая темно-желтая пара облекала особу; а на желтых ботинках поблескивал блистательный лак.

Заняв место за столиком незнакомца, особа довольно воскликнула:

– «Кофейник... И – послушайте – коньяку: там бутылка моя у меня – на имя записана».

И кругом раздавалось:

– «Ты-то пил со мной?»

– «Пил...»

– «Ел?..»

– «Ел...»

– «И какая же ты, с позволения сказать, свинья...»

.....

– «Осторожнее», – вскрикнул мой незнакомец: неприятный толстяк, названный незнакомцем Липпанченко, захотел положить темно-желтый свой локоть на лист газетного чтения: лист газетного чтения накрывал узелочек.

– «Что такое?» – Тут Липпанченко, снявши лист газетного чтения, увидел узелок: и губы Липпанченко дрогнули.

– «Это... это... и есть?»

– «Да: *это*– и есть».

Губы Липпанченко продолжали дрожать: губы Липпанченко напоминали кусочки на ломтики нарезанной семги – не желто-красной, а маслянистой и желтой (семгу такую, наверное, ты едал на блинах в небогатом семействе).

– «Как вы, Александр Иванович, скажу я вам, неосторожны». – Липпанченко протянул к узелку свои дубоватые пальцы; и блистали поддельные камни перстней на пальцах опухших, с обгрызанными ногтями (на ногтях же темнели следы коричневой красочки, соответствовавшей и такому же цвету волос; внимательный наблюдатель мог вывести заключение: особа-то красилась).

– «Ведь еще лишь движение (положи я только локоть), ведь могла бы быть... катастрофа...»

И с особою бережливостью переложил особа узелочек на стул.

– «Ну да, было бы с нами с обоими...» – неприятно сострил незнакомец. – «Были бы оба мы...»

Видимо, он наслаждался смущением особы, которую – от себя скажем мы – ненавидел он.

– «Я, конечно, не за себя, а за...»

– «Конечно, уж вы не за себя, а за...» – особе поддакивал незнакомец.

.....

А кругом раздавалось:

– «Свиньей не ругайтесь...»

– «Да я не ругаюсь».

– «Нет, ругаетесь: попрекаете, что платили... Что ж такой, что платили; уплатили тогда, нынче плачу – я...»

– «Давай-ка, друг мой, я тебя за ефот твой поступок расцелую...»

– «За *свинью* не сердись: а я – ем, ем...»

– «Уж ешьте вы, ешьте: так-то правильной...»

.....

– «Вот-с Александр Иванович, вот-с что, родной мой, этот вы узелок», – Липпанченко покосился, – «снесете немедленно к Николаю Аполлоновичу».

– «Аблеухову?»

– «Да: к нему – на хранение».

– «Но позвольте: на хранении узелок может лежать у меня...»

– «Неудобно: вас могут схватить; там же будет в сохранности. Как-никак, дом сенатора Аблеухова... Кстати: слышали вы о последнем ответственном слове почтенного старичка?...»

Тут толстяк наклонившись зашептал что-то на ухо моему незнакомцу:

– «Шу-шу-шу...»

– «Аблеухова?»

– «Шу...».

– «Аблеухову?...»

– «Шу-шу-шу...»

– «С Аблеуховым?...»

– «Да, не с сенатором, а с сенаторским сыном: коли будете у него, так уж, сделайте милость, ему передайте заодно с узелком – это вот письмецо: тут вот...»

Прямо к лицу незнакомца приваливалась Липпанченки узколобая голова; в орбитах затаились пытливо сверлящие глазки; чуть вздрагивала губа и посасывала воздух. Незнакомец с черными усиками прислушивался к шептанию толстого господина, стараясь расслышать внимательно содержание шепота, заглушаемого ресторанными голосами; ресторанные голоса покрывали шепот Липпанченко; что-то чуть шелестело из отвратительных губок (будто шелест многих сот муравьиных членистых лапок над раскопанным муравейником) и казалось, что шепот тот имеет страшное содержание, будто шепчутся здесь о мирах и планетных системах; но стоило вслушаться в шепот, как страшное содержание шепота оказывалось содержанием будничным:

– «Письмецо передайте...»

– «Как, разве Николай Аполлонович находится в особых сношениях?»

Особа прищурила глазки и прищелкнула язычком.

– «Я же думал, что все сношения с ним – через меня...»

– «А вот видите – нет...»

.....

Кругом раздавалось:

– «Ешь, ешь, друг...»

- «Отхвати-ка мне говяжьего студню».
- «В пище истина...»
- «Что есть истина?»
- «Истина – естина...»
- «Знаю сам...»
- «Коли знаешь, так ладно: подставляй тарелку и ешь...»

.....

Темно-желтая пара Липпанченки напомнила незнакомцу темно-желтый цвет обой его обиталища на Васильевском Острове – цвет, с которым связалась бессонница и весенних, белых, и сентябрьских, мрачных, ночей; и, должно быть, та злая бессонница вдруг в памяти ему вызвала одно роковое лицо с узкими, монгольскими глазками; то лицо на него многократно глядело с куска его желтых обой. Исследуя днем это место, незнакомец усматривал лишь сырое пятно, по которому проползала мокрица. Чтоб отвлечь себя от воспоминаний об измучившей его галлюцинации, незнакомец мой закурил, неожиданно для себя став болтливым:

- «Прислушайтесь к шуму...»
- «Да, изрядно шумят».
- «Звук шума на „и“, но слышится „ы“...»

Липпанченко, осовелый, погрузился в какую-то думу.

- «В звуке „ы“ слышится что-то тупое и склизкое... Или я ошибаюсь?...»

– «Нет, нет: нисколько», – не слушая, Липпанченко пробурчал и на миг оторвался от выкладок своей мысли...

– «Все слова на *еры* тривиальны до безобразия: не то «и»; «и-и-и» – голубой небосвод, мысль, кристалл; звук и-и-и вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином; а слова на «еры» тривиальны; например: слово *рыба*; послушайте: р-ы-ы-ба, то есть нечто с холодной кровью... И опять-таки м-ы-ы-ло: нечто склизкое; *глыбы* – бесформенное: тыл – место дебошей...»

Незнакомец мой прервал свою речь: Липпанченко сидел перед ним бесформенной *глыбой*; и *дым* от его папиросы осклизло обмыливал атмосферу: сидел Липпанченко в облаке; незнакомец мой на него посмотрел и подумал «тьфу, гадость – татарщина»... Перед ним сидело просто какое-то «Ы»...

С соседнего столика кто-то, икая, воскликнул:

- «Ерыкало ты, ерыкало!...»
- «Извините, Липпанченко: вы не монгол?»
- «Почему такой странный вопрос?...»
- «Так, мне показалось...»
- «Во всех русских ведь течет монгольская кровь...»

А к соседнему столику привалило толстое пузо; и с соседнего столика поднялось пузо навстречу...

- «Быкобойцу Анофриеву!...»
- «Почтение!»
- «Быкобойцу городских боен... Присаживайтесь...»
- «Половой!...»
- «Ну, как у вас?...»
- «Половой: поставь-ка „Сон Негра“...»

И трубы машины мычали во здравие быкобойца, как бык под ножом быкобойца.

Какой такой костюмер?

Помещение Николая Аполлоновича состояло из комнат: спальни, рабочего кабинета, приемной.

Спальня: спальню огромная занимала кровать; красное, атласное одеяло ее покрывало – с кружевными накидками на пышно взбитых подушках.

Кабинет был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, пред которыми на медных колечках легко скользил шелк; заботливая рука то вовсе могла скрыть от взора содержимое полочек, то, наоборот, обнаружить ряды черных кожаных корешков, испещренных надписями: «Кант».

Кабинетная мебель была темно-зеленой обивки; и прекрасен был бюст... разумеется, Канта же.

Два уже года Николай Аполлонович не поднимался раньше полудня. Два с половиною ж года пред тем пробуждался он ранее: пробуждался в девять часов, в половине десятого появляясь в мундире, застегнутом наглухо, для семейного распивания кофея.

Два с половиною года назад Николай Аполлонович не расхаживал по дому в бухарском халате; ермолка не украшала его восточную гостиную комнату; два с половиною года назад Анна Петровна, мать Николая Аполлоновича и супруга Аполлона Аполлоновича, окончательно покинула семейный очаг, вдохновленная итальянским артистом; после же бегства с артистом на паркетах домашнего остывающего очага Николай Аполлонович появился в бухарском халате: ежедневные встречи папаши с сынком за утренним кофеем как-то сами собою пресеклись. Кофе Николаю Аполлоновичу подавалось в постель.

И значительно ранее сына изволил откушивать кофе Аполлон Аполлонович.

Встречи папаши с сынком происходили лишь за обедом; да и то: на краткое время; между тем с утра на Николае Аполлоновиче стал появляться халат; завелись татарские туфельки, опущенные мехом; на голове же появилась ермолка.

И блестящий молодой человек превратился в восточного человека.

Николай Аполлонович только что получил письмо; письмо с незнакомым почерком: какие-то жалкие вирши с любовно-революционным оттенком и с разительной подписью: «Пламенеющая душа». Желая для точности ознакомиться с содержанием виршей, Николай Аполлонович беспомощно заметался по комнате, разыскивая очки, перебирая книги, перья, ручки и прочие безделушки и бормоча сам с собою:

- «А-а... Где же очки?..»
- «Черт возьми...»
- «Потерял?»
- «Скажите, пожалуйста».
- «А?..»

Николай Аполлонович, так же как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

Движения его были стремительны, как движения его высокопревосходительного папаши; так же, как и Аполлон Аполлонович, отличался он невзрачным росточком, беспокойным взглядом беспрестанно улыбавшегося лица; когда же он погружался в серьезное созерцание чего бы то ни было, то взгляд этот медленно окаменевал: сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого его лица, подобного иконописному, поражая особого рода благородством аристократизма: благородство в лице выявлял заметным образом лоб – точеный, с надутыми жилками: быстрая пульсация этих жилок явственно отмечала на лбу преждевременный склероз.

Синеватые жилки совпали с синевой вокруг громадных, будто бы подведенных глаз какого-то темно-василькового цвета (лишь в минуты волнений черными становились глаза от расширенности зрачков).

Николай Аполлонович был перед нами в татарской ермолке; но сними ее он, – предстала бы шапка бело-льняных волос, омягчая холодную эту, почти суровую внешность с напечатленным упрямством; трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека; часто встречается этот редкий для взрослого оттенок у крестьянских младенцев – особенно в Белоруссии.

Бросив небрежно письмо, Николай Аполлонович сел пред раскрытою книгою; и вчерашнее чтение отчетливо возникало пред ним (какой-то трактат). Вспомнилась и глава, и страница: припоминался и легко проведенный зигзаг округленного ногтя; ходы изгибные мыслей и свои пометки – карандашом на полях; лицо его теперь оживилось, оставаясь и строгим, и четким: одушевилось мыслью.

Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину вырастал в предоставленный себе самому центр – в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот вот стол: он являлся здесь единственным центром вселенной, как мыслимой, так и не мыслимой, циклически протекающей во всех эонах времени.

Этот центр – умозаключал.

Но едва удалось Николаю Аполлоновичу сегодня отставить от себя житейские мелочи и пучину всяких невнятности, называемых миром и жизнью, и едва Николаю Аполлоновичу удалось взойти к себе самому, как невнятность опять ворвалась в мир Николая Аполлоновича; и в невнятности этой позорно увязло самосознание: так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой.

Николай Аполлонович оторвался от книги: к нему постучали:

– «Ну?..»

– «Что такое?»

Из-за двери раздался глухой и почтительный голос.

– «Там-с...»

– «Вас спрашивают-с...»

Сосредоточиваясь в мысли, Николай Аполлонович запирает на ключ свою рабочую комнату: тогда ему начинало казаться, что и он, и комната, и предметы той комнаты перевоплощались мгновенно из предметов реального мира в умопостигаемые символы чисто логических построений; комнатное пространство смешивалось с его потерявшим чувствительность телом в общий бытийственный хаос, называемый им *вселенной*; а сознание Николая Аполлоновича, отделясь от тела, непосредственно соединялось с электрической лампочкой письменного стола, называемой «*солнцем сознания*». Запершись на ключ и продумывая положения своей шаг за шагом возводимой к единству системы, он чувствовал тело свое пролитым во «*вселенную*», то есть в комнату; голова же *этого тела* смещалась в головку пузатенького стекла электрической лампы под кокетливым абажуром.

И сместив себя так, Николай Аполлонович становился воистину творческим существом.

Вот почему он любил запирается: голос, шорох или шаг постороннего человека, превращая *вселенную* в комнату, а *сознание* – в лампу, разбивал в Николае Аполлоновиче прихотливый строй мыслей.

Так и теперь.

– «Что такое?»

– «Не слышу...»

Но из дали пространств отвечивал голос лакея:

«Там пришел человек».

.....

Тут лицо Николая Аполлоновича приняло вдруг довольное выражение:

– «А, так это от костюмера: костюмер принес мне костюм...»

Какой такой костюмер?

Николай Аполлонович, подобравши полу халата, зашагал по направлению к выходу; у лестничной балюстрады Николай Аполлонович перегнулся и крикнул:

– «Это – вы?...»

– «Костюмер?»

– «От костюмера?»

– «Костюмер прислал мне костюм?»

И опять повторим от себя: какой такой костюмер?

.....

В комнате Николая Аполлоновича появилась кардонка, Николай Аполлонович запер двери на ключ; суетливо он разрезал бечевку; и приподнял он крышку; далее, вытащил из кардонки: сперва масочку с черною кружевной бородой, а за масочкой вытащил Николай Аполлонович пышное ярко-красное домино, зашуршавшее складками.

Скоро он стоял перед зеркалом – весь атласный и красный, приподняв над лицом миниатюрную масочку; черное кружево бороды, отвернувшись, упало на плечи, образуя справа и слева по причудливому, фантастическому крылу; и из черного кружева крыльев из полусумрака комнаты в зеркале на него поглядело мучительно-странно – то, само: лицо – его, самого; вы сказали бы, что там в зеркале на себя самого не глядел Николай Аполлонович, а неведомый, тоскующий – демон пространства.

После этого маскарада Николай Аполлонович с чрезвычайно довольным лицом убрал обратно в кардонку сперва красное домино, а за ним и черную масочку.

Мокрая осень

Мокрая осень летела над Петербургом; и невесело так мерцал сентябрьский денек.

Зеленоватым роем проносились там облачные клоки; они стучались в желтоватый дым, припадающий к крышам угрозой. Зеленоватый рой поднимался безостановочно над безысходною далью невских просторов; темная водная глубина сталью своих чешуй билась в граниты; в зеленоватый рой убегал шпигель... с петербургской стороны.

Описав в небе траурную дугу, темная полоса копоти высоко встала от труб пароходных; и хвостом упала в Неву.

И бурлила Нева, и кричала отчаянно там свистком загудевшего пароходика, разбивала свои водяные, стальные щиты о каменные быки; и лизала граниты; натиском холодных невских ветров срывала она картузы, зонты, плащи и фуражки. И повсюду в воздухе взвесилась бледно-серая гниль; и оттуда, в Неву, в бледно-серую гниль, мокрое изваяние Всадника со скалы все так же кидало тяжелую позеленевшую медь.

И на этом мрачнейшем фоне хвостатой и виснувшей копоти над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в зараженную бациллами мутную невскую воду, так отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой на бок надетой фуражке. Медленно подвигался Николай Аполлонович к серому, темному мосту, не улыбаясь, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с пренелепо плясавшим по ветру шинельным крылом.

У большого черного моста остановился он.

Неприятная улыбка на мгновение вспыхнула на лице его и угасла; воспоминанья о неудачной любви охватили его, хлынувши натиском холодного ветра; Николай Аполлонович вспомнил одну туманную ночь; тою ночью он перегнулся через перила; обернулся и увидел,

что никого нет; приподнял ногу; и резиновой гладкой калошей занес ее над перилами, да... так и остался: с приподнятой ногой; казалось бы, дальше должны были и воспоследовать следствия; но... Николай Аполлонович продолжал стоять с приподнятой ногой. Через несколько мгновений Николай Аполлонович опустил свою ногу.

Вот тогда-то созрел у него необдуманный план: дать ужасное обещание одной легкомысленной партии.

Вспоминая теперь этот свой неудачный поступок, Николай Аполлонович неприятнейшим образом улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с заплывавшим по ветру длинным, шинельным крылом; с таким видом свернул он на Невский; начинало смеркаться; кое-где в витрине поблескивал огонек.

– «Красавец», – постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича...

– «Античная маска...»

– «Аполлон Бельведерский».

– «Красавец...»

Встречные дамы по всей вероятности так говорили о нем.

– «Эта бледность лица...»

– «Этот мраморный профиль...»

– «Божественно...»

Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили друг другу.

Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя ска-
зали бы дамы:

– «Уродище...»

Где с подъезда насмешливо полагают лапу на серую гранитную лапу два меланхолических льва, – там, у этого места, Николай Аполлонович остановился и удивился, пред собою увидевши спину прохожего офицера; путаясь в полах шинели, он стал нагонять офицера:

– «Сергей Сергеевич?»

Офицер (высокий блондин с остроконечной бородкою) обернулся и с тенью досады смотрел выжидательно сквозь синие очковые стекла, как, путаясь в полах шинели, косолапо к нему повлеклась студенческая фигурка от знакомого места, где с подъезда насмешливо полагают лапу на лапу два меланхолических льва с гладкими гранитными гривами. На мгновение будто какая-то мысль осенила лицо офицера; по выражению дрогнувших губ можно было бы подумать, что офицер волновался; будто он колебался: *узнать* ему или *нет*.

– «А... здравствуйте... Вы куда?»

– «Мне на Пантелеймоновскую», – солгал Николай Аполлонович, чтоб пройти с офицером по Мойке.

– «Пойдемте, пожалуй...»

– «Вы куда?» – вторично солгал Николай Аполлонович, чтоб пройти с офицером по Мойке.

– «Я – домой».

– «Стало быть, по пути».

Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных львиных морд; каждая морда висела над гербом, оплетенным гирляндой из камня.

Точно стараясь не касаться какого-то тяжелого прошлого, оба они, перебивая друг друга, озабоченно заговорили друг с другом: о погоде, о том, что волнения последних недель отразились на философской работе Николая Аполлоновича, о плутнях, обнаруженных офицером в провиантской комиссии (офицер заведовал, где-то там, провиантом).

Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных морд; каждая висла над гербом, оплетенным гирляндой.

Так проговорили они всю дорогу.

И вот уже – Мойка: то же светлое, трехэтажное пятиколонное здание александровской эпохи; и та же все полоса орнаментной лепки над вторым этажом: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах. Они миновали уж здание; вон за зданием – дом; и вон – окна... Офицер остановился у дома и отчего-то вдруг вспыхнул; и вспыхнув, сказал:

– «Ну, прощайте... вам дальше?..»

Сердце Николая Аполлоновича усиленно застучало; что-то спросить собирался он; и – нет: не спросил; он теперь стоял одиноко перед захлопнутой дверью; воспоминанья о неудачной любви, верней – чувственного влечения, – воспоминания эти охватили его; и сильнее забились синеватые, височные жилки; он теперь обдумывал свою месть: надругательство над чувствами его оскорбившей особы, проживающей в этом подъезде; он обдумывал свою месть вот уж около месяца; и – пока об этом ни слова!

То же светлое, пятиколонное здание с полосой орнаментной лепки: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах...

.....

Огненным мороком вечером залит проспект. Ровно высятся яблоки электрических светов посередине. По бокам же играет переменный блеск вывесок; здесь, здесь и здесь вспыхнут вдруг рубины огней; вспыхнут там – изумруды. Мгновение: там – рубины; изумруды же – здесь, здесь и здесь.

Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым светом стены многих домов: ярко искрятся из алмазов сложенные слова: «*Кофейня*», «*Фарс*», «*Бриллианты Тэта*», «*Часы Омега*». Зеленоватая днем, а теперь лучезарная, разевает на Невский витрина свою огненную пасть; всюду десятки, сотни адских огненных пастей: эти пасти мучительно извергают на плиты ярко-белый свой свет; мутную мокроту изрыгают они огневою ржавчиной. И огнем изгрызан проспект. Белый блеск падает на котелки, на цилиндры, на перья; белый блеск ринется далее, к середине проспекта, отпихнув с тротуара вечернюю темноту: а вечерняя мокрота растворится над Невским в блистаниях, образуя тусклую желтовато-кровавую муть, смешанную из крови и грязи. Так из финских болот город тебе покажет место своей безумной оседлости красным, красным пятном: и пятно то беззвучно издали зрится на темноцветной на ночи. Странствуя вдоль необъятной родины нашей, издали ты увидишь красной крови пятно, вставшее в темноцветную ночь; ты испуганно скажешь: «Не есть ли там местонахождение гееннского пекла?» Скажешь, – и вдаль поплетешься: ты гееннское место постараешься обойти.

Но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, ярко-кровавый, издали тебя ужаснувший блеск медленно растворился бы в белесоватую, не вовсе чистую светлость, многогогневными обстал бы домами, – и только: наконец распался бы на многое множество огоньков.

Никакой Геенны и не было б.

.....

Николай Аполлонович Невского не видал, в глазах его был тот же все домик: окна, тени за окнами; за окнами, может быть, веселые голоса: желтого кирасира, барона Оммау-Оммергау; синего кирасира, графа Авена и ее – ее голос... Вот, сидит Сергей Сергеевич, офицер, и вставляет, быть может, в веселые шутки:

– «А я шел сейчас с Николаем Аполлоновичем Аблеуховым...»

Аполлон Аполлонович вспомнил

Да, Аполлон Аполлонович вспомнил: недавно услышал он про себя одну беззлобную шутку. Говорили чиновники:

– «Наш Нетопырь (прозвище Аполлона Аполлоновича в Учреждении), пожимая руки просителям, поступает совсем не по типу чиновников Гоголя; пожимая руки просителям, не берет гаммы рукопожатий от совершенного презрения, чрез невнимание, к презрению вовсе: от коллежского регистратора к статскому...»

И на это заметили:

– «Он берет всего одну ноту: презрения...»

Тут вмешались заступники:

– «Господа, оставьте пожалуйста: это – от геморроя...»

И все согласились.

Дверь распахнулась: вошел Аполлон Аполлонович. Шутка испуганно оборвалась (так юркий мышонок влетает стремительно в щелку, едва войдете вы в комнату). Но Аполлон Аполлонович не обижался на шутки; да и, кроме того, тут была доля истины: геморроем страдал он.

Аполлон Аполлонович подошел к окну; две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка.

И головки там в окнах пропали.

.....

Здесь, в кабинете высокого Учреждения, Аполлон Аполлонович воистину вырастал в некий центр: в серию государственных учреждений, кабинетов и зеленых столов (только более скромно обставленных). Здесь он являлся силовой излучающей точкой, пересечением сил и импульсом многочисленных, многосоставных манипуляций. Здесь Аполлон Аполлонович был силой в ньютоновском смысле; а сила в ньютоновском смысле, как, верно, неведомо вам, есть оккультная сила.

Здесь был он последней инстанцией – донесений, прошений и телеграмм.

Инстанцию эту в государственном организме он относил не к себе: к заключенному в себе центру – к сознанию.

Здесь сознание отделялось от доблестной личности, проливаясь вокруг между стен, проясняясь невероятно, концентрируясь со столь большой силой в единственной точке (меж глазами и лбом), что казалось, невидимый, беленький огонек, вспыхнувши между глазами и лбом, разбрасывал вокруг снопы змеевидных молний; мысли-молнии разлетались, как змеи, от лысой его головы; и если бы ясновидящий стал в ту минуту пред лицом почтенного мужа, без сомнения пред собой он увидел бы голову Горгоны медузы.

И медузиным ужасом охватил бы его Аполлон Аполлонович.

Здесь сознание отделялось от доблестной личности: личность же с пучиною всевозможных волнений (сего побочного следствия существования души) представлялась сенатору как черепная коробка, как пустой, в данную минуту опорожненный, футляр.

В Учреждении Аполлон Аполлонович проводил часы за просмотром бумажного производства: из воссиявшего центра (меж глазами и лбом) вылетали все циркуляры к начальникам подведомственных учреждений. И поскольку он, вот из этого кресла, сознанием пересекал свою жизнь, постольку же его циркуляры, из этого места, секли в прямолинейном течении чреполосицу обывательской жизни.

Эту жизнь Аполлон Аполлонович сравнивал с половой, растительной или всякой иною потребностью (например, с потребностью в скорой езде по петербургским проспектам).

Выходя из холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлонович становился вдруг обывателем.

Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение (с нетопырем). Эти недруги были – все до единого – обыватели; этим недругом за стенами был он себе сам.

Аполлон Аполлонович был сегодня особенно четок: на доклад не кивнула ни разу его голая голова; Аполлон Аполлонович боялся выказать слабость: при исправлении служебных

обязанностей!.. Возвыситься до логической ясности было ему сегодня особенно трудно: бог весть почему, Аполлон Аполлонович пришел к заключению, что собственный его сын, Николай Аполлонович, – отъявленный негодяй.

.....

Окно позволяло видеть нижнюю часть балкона. Подойдя к окну, можно было видеть кариатиду подъезда: каменного бородача.

Как Аполлон Аполлонович, каменный бородач приподымался над уличным шумом и над временем года: тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним толпами; проходила толпа и теперь – в девятьсот пятом году. Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; времени зуб изгрызает ее. За пять лет пролетели события: Анна Петровна – в Испании; Вячеслава Константиновича – нет; желтая пята дерзновенно взошла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай и пал Порт-Артур.

Собираясь выйти к толпе ожидавших просителей, Аполлон Аполлонович улыбался; улыбка же происходила от робости: что-то ждет его за дверьми.

Аполлон Аполлонович проводил свою жизнь меж двумя письменными столами: между столом кабинета и столом Учреждения. Третьим излюбленным местом была сенаторская карета.

И вот: он – робел.

А уж дверь отворилась; секретарь, молодой человек, с либерально как-то на шейном крахмале бьющимся орденом подлетел к высокой особе, почтительно щелкнувши перекрахмаленным краем белоснежной манжетки. И на робкий вопрос его загудел Аполлон Аполлонович:

– «Нет, нет!.. Сделайте, как я говорил... И знаешь ли», – сказал Аполлон Аполлонович, остановился, поправился:

– «Ти ли...»

Он хотел сказать «знаете ли», но вышло: «знаешь ли... ти ли...»

О его рассеянности ходили легенды; однажды Аполлон Аполлонович явился на высокий прием, представьте, – без галстука; остановленный дворцовым лакеем, он пришел в величайшее смущение, из которого его вывел лакей, предложивши у него заимствовать галстук.

Холодные пальцы

Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре, с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из кареты и вбежал на ступени подъезда, на ходу снимая черную замшевую перчатку.

Быстро вошел он в переднюю. Цилиндр с осторожностью передался лакею. С тою же осторожностью отдались: пальто, портфель и кашне.

Аполлон Аполлонович в раздумье стоял пред лакеем; вдруг Аполлон Аполлонович обратился с вопросом:

– «Будьте любезны сказать: часто ли здесь бывает молодой человек – да: молодой человек?»

– «Молодой человек-с?»

Наступило неловкое молчание: Аполлон Аполлонович не умел иначе формулировать свою мысль. А лакей, конечно, не мог догадаться, о каком молодом человеке спрашивал барин.

– «Молодые люди бывают, вашество, редко-с...»

– «Ну, а... молодые люди с усиками?»

– «С усиками-с?»

– «С черными...»

– «С черными-с?»
– «Ну да, и... в пальто...»
– «Все приходят-с в пальто...»
– «Да, но с поднятым воротником...»
Что-то вдруг осенило швейцара.
– «А, так это вы про того, который...»
– «Ну да: про него...»
– «Был однажды такой-с... заходил к молодому барину: только они были уж давненько; как же-с... навешиваются...»

– «Как так?»
– «Да как же-с!»
– «С усиками?»
– «Точно так-с!»
– «Черными?»
– «С черными усиками...»
– «И в пальто с поднятым воротником?»
– «Они самые-с...»

Аполлон Аполлонович постоял с минуту как вкопанный и вдруг: Аполлон Аполлонович прошел мимо.

Лестницу покрывал бархатный серый ковер; лестницу обрамляли, конечно, тяжелые стены; бархатный серый ковер покрывал стены те. На стенах разблестался орнамент из старинных оружий; а под ржаво-зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка; искрилась крестообразная рукоять рыцарского меча; здесь ржавели мечи; там – тяжело склоненные алебарды; матово стены пестрила многокольчатая броня; и клонились – пистоль с шестопером.

Верх лестницы выводил к балюстраде; здесь с матовой подставки из белого алебаstra белая Ниобея поднимала горе алебастровые глаза.

Аполлон Аполлонович четко распахнул пред собою дверь, опираясь костлявой рукой о граненую ручку: по громадной зале, непомерно вытянутой в длину, раздавалась холодно поступь тяжелого шага.

Так бывает всегда

Над пустыми петербургскими улицами пролетали едва озаренные смутности; обрывки туч перегоняли друг друга.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и мертвенно проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась высь; и от этого проблистали железные крыши и трубы. Протекали тут зеленые воды Мойки; по одной ее стороне то же высилось все трехэтажное здание о пяти своих белых колоннах; наверху были выступы. Там, на светлом фоне светлого здания, медленно проходил Ее Величества кирасир; у него была золотая, блиставшая каска.

И серебряный голубь над каской распростер свои крылья.

Николай Аполлонович, надушенный и выбритый, пробирался по Мойке, запахнувшись в меха; голова упала в шинель, а глаза как-то чудно светились; в душе – поднимались там трепеты без названия; что-то жуткое, сладкое пело там: словно в нем самом разлетелся на части буревой эолов мешок и сыны нездешних порывов на свистящих бичах в странные, в непонятные страны угоняли жестоко.

Думал он: неужели и *это* – любовь? Вспомнил он: в одну туманную ночь, выбегая стремительно из того вон подъезда, он пустился бежать к чугунному петербургскому мосту, чтобы там, на мосту...

Вздрыгнул он.

Пролетел сноп огня: придворная, черная пролетела карета: пронесла мимо светлых впадин оконных *того самого* дома ярко-красные свои, будто кровью налитые, фонари; на струе черной мойской фонари проиграли и проблистали; призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев пролетели с огнем из тумана в туман.

Николай Аполлонович постоял перед домом задумчиво: колотилось сердце в груди; постоял, постоял – и неожиданно скрылся он в знакомом подъезде.

В прежние времена он сюда входил каждый вечер; а теперь здесь он два с лишним месяца не переступал порога; и переступил, будто вор, он – теперь. В прежние времена ему девушка в белом переднике дверь открывала радушно; говорила:

– «Здравствуйте, барин», – с лукавой улыбкою.

А теперь? Ему не выйдут навстречу; позвони он, та же девушка на него испуганно заморгает глазами и «здравствуйте, барин» не скажет; нет, звониться не станет он.

Для чего же он здесь?

Подъездная дверь перед ним распахнулась; и подъездная дверь звуком ударилась в спину; тьма объяла его; точно все за ним отвалилось (так, вероятно, бывает в первый миг после смерти, как с души в бездну тления рухнет храм тела); но о смерти теперь Николай Аполлонович не подумал – смерть была далека; в темноте, видно, думал он о собственных жестах, потому что действия его в темноте приняли фантастический отпечаток; на холодной ступени уселся он у одной входной двери, опустив лицо в мех и слушая биение сердца; некая черная пустота начиналась у него за спиной; черная пустота была впереди.

Так Николай Аполлонович сидел в темноте.

.....

А пока он сидел, так же все открывалась Нева меж Александровской площадью и Миллионной; каменный перегиб Зимней Канавки показал плаксивый простор; Нева оттуда бросалась натиском мокрого ветра; вод ее замерцали беззвучно летящие плоскости, яростно отдавая в туман бледный блеск. Гладкие стены четырехэтажного дворцового бока, испещренного линиями, язвительно проблистали луной.

Никого, ничего.

Так же все канал выстроивал здесь в Неву холерную воду; перегнулся тот же и мостик; так же все выбегала на мостик еженощная женская тень, чтоб – низвергнуться в реку?.. Тень Лизы? Нет, не Лизы, а просто, так себе, – петербуржки; петербуржка выбегала сюда, не бросалась в Неву: пересекши Канавку, она убегала поспешно от какого-то желтого дома на Гагаринской набережной, под которым она каждый вечер стояла и долго глядела в окно.

Тихий плеск остался у нее за спиной: спереди ширилась площадь; бесконечные статуи, зеленоватые, бронзовые, пооткрывались отовсюду над темно-красными стенами; Геркулес с Посейдоном так же в ночь дозирали просторы; за Невой темная вставала громада – абрисами островов и домов; и бросала грустно янтарные очи в туман; и казалось, что плачет; ряд береговых фонарей уронил огневые слезы в Неву; прожигалась поверхность ее закипевшими блесками.

Выше – горестно простирали по небу клочкастые руки какие-то смутные очертания; рой за роем они восходили над невской волной, угоняясь к зениту; а когда они касались зенита, то, стремительно нападая, с неба кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном, хаосом не тронутом месте, – там, где днем перекинулся тяжелокаменный мост, – бриллиантов огромные гнезда протуманились странно там.

Женская тень, уткнув лицо в муфточку, пробежала вдоль Мойки все к тому же подъезду, откуда она выбегала по вечерам и где теперь на холодной ступеньке, под дверью, сидел Николай Аполлонович; подъездная дверь перед ней отворилась; подъездная дверь за нею захлопнулась; тьма объяла ее; точно все за ней отвалилось; черная дамочка помышляла в подъезде о таком все простом и земном; вот сейчас прикажет поставить она самоварчик; руку она уже протянула

к звонку, и – тогда-то увидела: какое-то очертание, кажется маска, поднялось перед ней со ступени.

А когда открылась дверь и подъездную темноту озарил на мгновение из двери сноп света, то восклицание перепуганной горничной подтвердило ей все, потому что в открытой двери сперва показался передник и перекрахмаленный чепчик; а потом отшатнулись от двери – и передник, и чепчик. В световой яркой вспышке открылась картина неопишуемой странности, и черное очертание дамочки бросилось в открытую дверь.

У нее ж за спиною, из мрака, восстал шелестящий, темно-багровый паяц с бородатою, трясушейся масочкой.

Было видно из мрака, как беззвучно и медленно с плеч, шуршащих атласом, повалили меха николаевки, как две красных руки томительно протянулись к двери. Тут, конечно, закрылась дверь, перерезав сноп света и кидая обратно подъездную лестницу в совершенную пустоту, темноту: переступая смертный порог, так обратно кидаем мы тело в потемневшую и только что светом сиявшую бездну.

.....

Чрез секунду на улицу выскочил Николай Аполлонович; из-под полы шинели у него болтался кусок красного шелка; нос уткнув в николаевку, Николай Аполлонович Аблеухов помчался по направлению к мосту.

.....

Петербург, Петербург!

Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты – мучитель жестокосердый; ты – непокойный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали – повосстали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность и что он – не воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым облаков.

От островов тащатся непокойные тени; так рой видений повторяется, отраженный проспектами, прогоняясь в проспектах, отраженных друг в друге, как зеркало в зеркале, где и самое мгновение времени расширяется в необъятности эонов: и бредя от подъезда к подъезду, переживаешь века.

О, большой, электричеством блещущий мост!

Помню я одно роковое мгновенье; чрез твои сырые перила сентябрёвскою ночью пере-
гнулся и я: миг, – и тело мое пролетело б в туманы.

О, зеленые, кишашие бациллами воды!

Еще миг, обернули б вы и меня в свою тень. Непокойная тень, сохраняя вид обывателя, двусмысленно замаячила б в сквозняке сырого каналыца; за своими плечами прохожий бы видел: котелок, трость, пальто, уши, нос и усы...

Проходил бы он далее... до чугунного моста.

На чугунном мосту обернулся бы он; и он ничего не увидел бы: над сырыми перилами, над кишашей бациллами зеленоватой водой пролетели бы лишь в сквозняки приневского ветра – котелок, трость, уши, нос и усы.

Ты его не забудешь вовек!

Мы увидели в этой главе сенатора Аблеухова; увидели мы и праздные мысли сенатора в виде дома сенатора, в виде сына сенатора, тоже носящего в голове свои праздные мысли; видели мы, наконец, еще праздную тень – незнакомца.

Эта тень случайно возникла в сознании сенатора Аблеухова, получила там свое эфемерное бытие; но сознание Аполлона Аполлоновича есть теневое сознание, потому что и он – обладатель эфемерного бытия и порождение фантазии автора: ненужная, праздная, мозговая игра.

Автор, развесив картины иллюзий, должен бы был поскорей их убрать, обрывая нить повествования хотя бы этой вот фразой; но... автор так не поступит: на это у него есть достаточно прав.

Мозговая игра – только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать иным, потрясающим бытием, нападающим ночью. Атрибутами этого бытия наделен Аполлон Аполлонович; атрибутами этого бытия наделена вся его мозговая игра.

Раз мозг его разыгрался таинственным незнакомцем, незнакомец тот – есть, действительно есть: не исчезнет он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль – существует.

И да будет наш незнакомец – незнакомец реальный! И да будут две тени моего незнакомца реальными тенями!

Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек!

Конец первой главы

Глава вторая, в которой повествуется о неком свидании, чреватом последствиями

*Я сам, хоть в книжках и словесно,
Собратья надо мной трунят,
Я мещанин, как вам известно,
И в этом смысле демократ.*

А. Пушкин

Дневник происшествий

Наши почтенные граждане не читают газетный *«Дневник происшествий»*; в октябре тысяча девятьсот пятого года *«Дневник происшествий»* не читали и вовсе; наши почтенные граждане, верно, читали передовицы *«Товарища»*, если только не состояли они подписчиками самоновейших, громоносных газет; эти последние вели дневник иных происшествий.

Все же прочие истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало бросались к *«Дневнику происшествий»*; к *«Дневнику»* бросился и я; и читая этот *«Дневник»*, я прекрасно осведомлен. Ну, кто, в самом деле, прочитывал все сообщения о кражах, о ведьмах, о духах в упомянутом девятьсот пятом году? Все, конечно, читали передовицы. Сообщения, здесь изложенного, вероятно, не вспомнит никто.

Это – был... Вот газетные вырезки того времени (автор будет молчать): наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов и пропаже какого-то литератора (Дарьяльского, кажется) вместе с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем ряд интересных известий – сплошную фантастику, что ли, от которых закружится голова любого читателя Конан-Дойля. Словом – вот газетные вырезки.

«Дневник происшествий».

«Первое октября. Со слов курсистки высших фельдшерских курсов N. N. мы печатаем об одном чрезвычайно загадочном происшествии. Поздно вечером первого октября проходила курсистка N. N. у Чернышева Моста. Там, у моста, курсистка N. N. заметила очень странное зрелище: над самым каналом у перил моста среди ночи плясало красное атласное домино; на лице у красного домино была черная кружевная маска».

«Второе октября. Со слов школьной учительницы М. М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии близ одной из пригородных школ. Школьная учительница М. М. давала утренний свой урок в О. О. городской школе; школа окнами выходила на улицу; вдруг в окне закружился с неистовой силою пыльный столб, и учительница М. М. вместе с резвою детворою, естественно, бросилась к окнам О. О. городской школы; каково же было смущение класса вместе с классной наставницей, когда красное домино, находясь в центре им поднимаемой пыли, подбежало к окнам О. О. городской школы и приникло черною кружевною маской к окну? В О. О. земской школе занятия прекратились...»

«Третье октября. На спиритическом сеансе, состоявшемся в квартире уважаемой баронессы К. К., дружно собравшиеся спириты составили спиритическую цепь: но едва составили они цепь, как среди цепи обнаружилось домино и коснулось в пляске складками мантии кончика носа титулярного советника С. Врач Г-усской больницы констатировал на носу титулярного советника С. сильнейший ожог: кончик носа, по слухам, покроют лиловые пятна. Словом, всюду – красное домино».

Наконец: «*Четвертое октября*. Население слободы И. единодушно бежало пред явлением домино: составляется ряд протестов; в слободу вызвана У-сская сотня казаков».

Домино, домино – в чем же сила? Кто курсистка N. N., кто такое M. M., наставница класса, баронесса K. K. и так далее?.. В девятьсот пятом году вы, конечно, читатель, не читывали «*Дневника происшествий*». Так вините ж себя, а не автора: а «*Дневник происшествий*», поверьте, забежал в библиотеку.

Что такое газетный сотрудник? Он, во-первых, есть деятель периодической прессы; и как деятель прессы (шестой части света) получает он за строку – пятачок, семь копеечек, гривенник, пятиалтынный, двугривенный, сообщая в строке все, что есть и чего никогда не бывало. Если бы сложить газетные строки любого газетного деятеля, то единая, из строк сложенная строка обвила б земной глобус тем, что было, и тем, чего не было.

Таковы почтенные свойства большинства газетных сотрудников крайних правых, правых, средних, умеренных либеральных, наконец, революционных газет совокупно с исчислением их количества, качества – этими почтенными свойствами открывается просто так ключ к истине тысяча девятьсот пятого года, – истине «*Дневника происшествий*» под рубрикой «*Красное Домино*». Вот в чем дело: один почтенный сотрудник несомненно почтенной газеты, получая пятак, вдруг решил использовать один факт, рассказанный в одном доме; в этом доме хозяйкою была дама. Дело, стало быть, не в почтенном сотруднике, получающем за строку; дело, стало быть, в даме...

Кто же дама?

Так с нее и начнем.

Дама: гм! и хорошенькая... Что есть дама?

Дамских свойств не открыл хиромант; сиротливо стоит хиромант пред загадкою, озаглавленной «д а м а»: в таком случае, как за эту загадку приняться психологу, или – фи! – как приняться писателю? Загадка усугубится, если дама – молоденькая, если про нее говорят, что она хороша.

Так вот: была одна дама; и она от скуки посещала женские курсы; и еще от скуки она иногда по утрам замещала учительницу в О. О. городской школе, если только вечером не была она в спиритическом кружке в вакантные от балов дни; нечего говорить, что курсистка N. N., и M. M. (наставница класса), и K. K. (баронесса спиритка) была только дама: и дама хорошенькая. У нее-то почтенный газетный сотрудник просиживал вечера.

Эта дама однажды, смеясь, ему сообщила, что какое-то красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Так попало невинное признание хорошенькой дамы на столбцы газет под рубрикой «*Дневник происшествий*». И попав в «*Дневник происшествий*», расплелось в серию никогда не бывших событий, угрожавших спокойствию.

Что же было? Даже и сплетенный дым поднимается от огня. Что же было огнем этих дымов почтенной газеты, о которых прочла вся Россия и которых, к стыду, не прочел, наверное, ты?

Софья Петровна Лихутина

Та дама... Но той дамой была Софья Петровна; ей придется нам тотчас же уделить много слов.

Софья Петровна Лихутина отличалась, пожалуй, чрезмерной растительностью: и она была как-то необычайно гибка: если Софья Петровна Лихутина распустила б черные свои волосы, эти черные волосы, покрывая весь стан, упали б до икр; и Софья Петровна Лихутина, говоря откровенно, просто не знала, что делать ей с этими волосами своими, столь черными, что, пожалуй, черней не было и предмета; от чрезмерности ли волос, или от их черноты – только, только: над губками Софьи Петровны обозначался пушок, угрожавший ей к старости

настоящими усиками. Софья Петровна Лихутина обладала необычайным цветом лица; цвет этот был – просто жемчужный цвет, отличавшийся белизной яблочных лепестков, а то – нежною розоватостью; если же что-либо неожиданно волновало Софью Петровну, вдруг она становилась совершенно пунцовой.

Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами: если б я не боялся упасть в прозаический тон, я бы назвал глазки Софьи Петровны не глазами – глазищами темного, синего – темно-синего цвета (назовем их очами). Эти очи то искрились, то мутнели, то казались тупыми, какими-то выцветшими, углубленными в провалившихся орбитах, синевато-зловещих: и косили. Ярко-красные губы ее были слишком большими губами, но... зубки (ах, зубки!): жемчужные зубки! И при том – детский смех... Этот смех придавал оттопыренным губкам какую-то прелесть; и какую-то прелесть придавал гибкий стан; и опять-таки гибкий чрезмерно: все движения этого стана и какой-то нервной спины то стремительны были, то вялы – неуклюжи до безобразия.

Одевалась Софья Петровна в черное шерстяное платье с застежкой на спине, облекавшее ее *роскошные формы*; если я говорю *роскошные формы*, это значит, что словарь мой иссяк, что банальное слово «*роскошные формы*» обозначает для Софьи Петровны как-никак, а угрозу: преждевременную полноту к тридцати годам. Но Софье Петровне Лихутиной было двадцать три года.

Ах, Софья Петровна!

Софья Петровна Лихутина проживала в маленькой квартирке, выходившей на Мойку; там со стен отовсюду упали каскады самых ярких, неугомонных цветов: ярко-огненных – там и здесь – поднебесных. На стенах японские веера, кружева, подвесочки, банты, а на лампах: атласные абажуры разведали атласные и бумажные крылья, будто бабочки тропических стран; и казалось, что рой этих бабочек, вдруг слетевши со стен, порасплещется поднебесными крыльями вокруг Софьи Петровны Лихутиной (знакомые офицеры ее называли ангел Пери, вероятно слив два понятия «Ангел» и «Пери» просто в одно: ангел Пери)».

Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, изображавшие вид горы Фузи-Ямы, – все до единого; в развешанных пейзажиках вовсе не было перспективы; но и в комнатках, туго набитых креслами, софами, пуфами, веерами и живыми японскими хризантемами, тоже не было перспективы: перспективой являлся то атласный альков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, или с двери летающий, шепчущий что-то тростник, из которого выпорхнет все она же, а то Фузи-Яма – пестрый фон ее роскошных волос; надо сказать: когда Софья Петровна Лихутина в своем розовом кимоно по утрам пролетала из-за двери к алькову, то она была настоящей японочкой. Перспективы же не было.

Комнатки были – малые комнатки: каждую занимал лишь один огромный предмет: в крошечной спальне постель была огромным предметом; ванна – в крошечной ванной; в гостиной – голубоватый альков; стол с буфетом – в столовой; тем предметом в комнатке для прислуги – была горничная; тем предметом в мужниной комнате был, разумеется, муж.

Ну, откуда же быть перспективе?

Все шесть крохотных комнаток отапливались паровым отоплением, отчего в квартирке задушивал вас влажный оранжерейный жар; стекла окон потели; и потел посетитель Софьи Петровны; вечно потели – и прислуга, и муж; сама Софья Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой росой японская хризантема. Ну, откуда же в этой тепличке завестись перспективе?

Перспективы и не было.

Посетители Софьи Петровны

Посетитель оранжерейки Софьи Петровны, *ангела* Пери (кстати сказать, обязанный ангелу поставлять хризантемы), всегда ей хвалил японские пейзажи, присоединяя попутно свои рассуждения о живописи вообще; и наморщивши черные бровки, ангел Пери веско как-то выпаливал: «Пейзаж этот принадлежит перу *Хадусаи*»... ангел решительно путал как все собственные имена, так и все иностранные слова. Посетитель художник обижался при этом; и впоследствии к ангелу Пери не обращался с рацеями о живописи вообще: между тем этот ангел на последние свои карманные деньги накупал пейзажи и подолгу-подолгу в одиночестве любовался на них.

Посетителя Софья Петровна не занимала ничем: если это был светский молодой человек, преданный увеселениям, она считала нужным хохотать по поводу всех его и шутильных, и шутильных не вовсе, и серьезнейших слов; на все она хохотала, становилась пунцовой от хохота, и испарина покрывала ее крохотный носик; светский молодой человек становился тогда отчего-то также пунцовым; испарина покрывала и его нос: светский молодой человек удивлялся ее молодому, но далеко не светскому хохоту; удивлялся так, относил Софью Петровну Лихутину к демимонду; между тем на стол появлялась кружка с надписью «*благотворительный сбор*» и Софья Петровна Лихутина, ангел Пери, хохоча, восклицала: «Вы опять сказали мне *фифку* – платите же». (Софья Петровна учредила недавно благотворительный сбор в пользу безработных за каждую светскую *фифку*: *фифками* почему-то называла она нарочито сказанную глупость, производя это слово от «ф и»...) И барон Оммау-Оммергау, желтый Ее Величества кирасир, и граф Авен, кирасир синий, и лейб-гусар Шпорышев, и чиновник особых поручений в канцелярии Аблеухова Вергефден (все светские молодые люди) говорили за *фифкою фифку*, кладя в жестяную кружку двугривенный за двугривенным.

Почему же у ней бывали столькие офицеры? Боже мой, она танцевала на балах; и не будучи демимондной дамой, была дамой хорошенькой; наконец, она была офицершею.

Если же посетитель Софьи Петровны оказывался или сам музыкант, или сам музыкальный критик, или просто любитель музыки, Софья Петровна поясняла ему, что ее кумиры – *Дункани Никиши*; в восторженных выражениях, не столько словесных, сколько жестикуляционных, она поясняла, что и сама намерена изучить мелопластику, чтоб исполнить танец полета Валькирий ни более ни менее как в Байрейте; музыкант, музыкальный критик или просто любитель музыки, потрясенный неверным произнесением двух собственных имен (сам-то он произносил *Денкан*, *Никиши*, а не *Дункан* и *Никиши*), заключал, что Софья Петровна Лихутина просто-напросто *пустая бабенка*; и становился игривее; между тем очень хорошенькая прислуга вносила в комнатку граммофон: и из красной трубы жестяное горло граммофона изрыгало на гостя полет Валькирий. Что Софья Петровна Лихутина не пропускала ни одной модной оперы, это обстоятельство гость забывал: становился пунцовым и чрезмерно развязным. Такой гость выставлялся за дверь Софьей Петровной Лихутиной; и потому музыканты, игравшие для светского общества, были редки в оранжерейке; представители же светского общества граф Авен, барон Оммау-Оммергау, Шпорышев и Вергефден не позволяли себе неприличных выходок по отношению все-таки к офицерше, носившей фамилию стародворянского рода Лихутиных: поэтому и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден продолжали бывать. В их числе одно время частенько еще вращался студент, Николенька Аблеухов. И потом вдруг исчез.

Посетители Софьи Петровны как-то сами собою распались на две категории: на категорию светских гостей и на *гостей так сказать*. Эти, так сказать, гости были вовсе не гости: это были все желанные посетители... для отвода души; посетители эти не добивались быть принятыми в оранжерейке; несколько! Их почти силком к себе затаскивал ангел; и, силком зата-

щив, тотчас же отдавал им визит: в их присутствии ангел Пери сидел с поджатыми губками: не хохотал, не капризничал, не кокетничал вовсе, проявляя крайнюю робость и крайнюю немоту, а так *сказать гости* бурно спорили друг с другом. И слышалось: «революция – эволюция».

И опять: «революция – эволюция». Все только об одном и спорили эти, так сказать, гости; то была все ни золотая, ни даже серебряная молодежь: то была медная, бедная молодежь, получавшая воспитание на свои трудовые гроши; словом, то была учащаяся молодежь высших учебных заведений, щеголявшая обилием иностранных слов: «социальная революция». И опять-таки: «социальная эволюция». Ангел Пери неизменно спутывал те слова.

Офицер: Сергей Сергеич Лихутин

Среди прочей учащейся молодежи зачастила к Лихутиным одна в том кругу уважаемая, светлая личность: курсистка, Варвара Евграфовна (здесь могла Варвара Евграфовна изредка повстречать самого Nicolas Аблеухова).

Под влиянием светлой особы ангел Пери однажды осветил своим присутствием – ну, представьте же: митинг! Под влиянием светлой особы ангел Пери поставил на стол и самую свою медную кружку с туманною надписью: «Благотворительный сбор». Разумеется, эта кружка была предназначена для гостей; все же личности, относящиеся к *гостям так сказать*, раз навсегда Софьей Петровной Лихутиной от поборов освобождались; но поборами были обложены и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден. Под влиянием той же светлой особы ангел Пери стал захаживать по утрам в городскую школу О. О. и долбил без всякого толку «Манифест» Карла Маркса. Дело в том, что в ту пору у нее ежедневно бывал студент, Николенька Аблеухов, которого можно было без риска ей познакомить как с Варварой Евграфовной (влюбленной в Николеньку), так и с желтым Ее Величества кирасиром. Аблеухов, как сын Аблеухова, всюду, конечно, был принят.

Впрочем, с той поры, как Николенька перестал вдруг бывать у ангела Пери, этот ангел тайком от *гостей так сказать* упорхнул вдруг к спиритам, к баронессе (ну, как ее?), собиравшейся поступить в монастырь. С той поры на столике перед Софьей Петровной красовалась великолепно переплетенная книжечка «Человек и его тела» какой-то госпожи Анри Безансон (Софья Петровна опять-таки путала: не Анри Безансон – Анни Безант).

Свое новое увлечение Софья Петровна старательно скрыла как от барона Оммау-Оммергау, так и от Варвары Евграфовны; несмотря на свой заразительный смех и на крошечный лобик, скрытность ангела Пери достигала невероятных размеров: так, Варвара Евграфовна ни разу не встретилась с графом Авеном, ни даже с бароном Оммау-Оммергау. Разве только однажды в передней она увидела случайно меховую лейб-гусарскую шапку с султаном. Но об этой лейб-гусарской шапке с султаном впоследствии не было речи.

Что под всем этим крылось? Бог весть!

Был еще один посетитель Софьи Петровны Лихутиной; офицер: Сергей Сергеевич Лихутин; собственно говоря, это был ее муж; он заведовал где-то там провиантом; рано поутру уходил он из дому; появлялся дома не ранее полуночи; одинаково кротко здоровался просто с гостями и с *гостями так сказать*, с одинаковой кротостью говорил для приличия *фифку*, опуская в кружку двугривенный (если были при этом граф Авен или барон Оммау-Оммергау), или скромно кивал головой на слова «революция – эволюция», выпивал чашку чая и шел в свою комнату; молодые светские люди про себя его называли *армейчиком*, а учащаяся молодежь – офицером-бурбоном (в девятьсот пятом году Сергей Сергеич имел несчастье защищать от рабочих своей полуротою Николаевский Мост). Собственно говоря, Сергей Сергеич Лихутин охотнее всего воздержался бы и от *фифок*, и от слов «революция – эволюция». Собственно говоря, он не прочь был бы попасть к баронессе на спиритический сеансик; но о своем скромном желании на правах мужа вовсе он не настаивал, ибо вовсе он не был деспотом по отноше-

нию к Софье Петровне: Софью Петровну любил он всею силой души; более того: два с половиною года тому назад он женился на ней вопреки желанью родителей, богатейших симбирских помещиков; с той поры он был проклят отцом и лишен состояния; с той поры для всех неожиданно скромно он поступил в Григорийский полк.

Был еще посетитель: хитрый хохол-малоросс Липпанченко; этот был весьма сладострастен и звал Софью Петровну не ангелом, а... душканом; про себя же ее называл хитрый хохол-малоросс Липпанченко просто-напросто: бранкуканом, бранкукашкой, бранкуканчиком (вот слова ведь!). Но держался Липпанченко в границах приличия; и потому-то был он вхож в этот дом.

Добродушнейший муж Софьи Петровны, Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Григорийского Его Величества Короля Сиамского полка, относился с кротостью к революционному кругу знакомств своей дорогой половины; к представителям светского круга относился он лишь с подчеркнутым благодушием; а хохла-малоросса, Липпанченко, всего-навсего он терпел: этот хитрый хохол на хохла, кстати сказать, и не походил вовсе: походил скорей на помесь семита с монголом; он был и высок, и толст; желтоватое лицо этого господина неприятно плавало в своем собственном подбородке, выпертом крахмальным воротничком; и носил Липпанченко желто-красный атласный галстук, заколотый стразом, щеголяя полосатой темно-желтой парой и такого же цвета ботинками; но при этом Липпанченко беззастенчиво красил волосы в коричневый цвет. Про себя Липпанченко говорил, что он экспортирует русских свиней за границу и на этом *свинстве* разжиться собирается основательно.

Как бы ни было, Липпанченко, его одного, недолюбливал подпоручик Лихутин: про Липпанченко ходили темные слухи. Но что спрашивать, кого не любил подпоручик Лихутин: подпоручик Лихутин, разумеется, любил всех: но кого особенно он любил одно время, так это Николая Аполлоновича Аблеухова: ведь друг друга знавали они с самых первых отроческих лет: Николай Аполлонович был, во-первых, шафером на свадьбе Лихутина, во-вторых, ежедневным посетителем квартиры на Мойке в продолжение, без малого, полутора года. Но потом он скрылся бесследно.

Не Сергей Сергеевич, разумеется, виноват в исчезновении сенаторского сына, а сенаторский сын или даже сам ангел Пери.

Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом: дама... А от дамы что спрашивать!

Стройный шафер красавец

Еще в первый день своего, так сказать, «дамства», при совершении таинства бракосочетания, когда Николай Аполлонович держал над мужем ее, Сергеем Сергеевичем, высокотожественный венец, Софью Петровну Лихутину мучительно поразил стройный шафер, красавец, цвет его неземных, темно-синих, огромных глаз, белизна мраморного лица и божественность волос белолынных: те глаза ведь не глядели, как часто впоследствии, из-за тусклых стекол пенсне, а лицо подпирал золотой воротник новенького мундирчика (не у всякого же студента есть такой воротник). Ну, и... Николай Аполлонович зачастил к Лихутиным сперва раз в две недели; далее – раз в неделю; два, три, четыре раза в неделю; наконец, зачастил ежедневно. Скоро Софья Петровна заметила под маскою ежедневных заходов, что лицо Николая Аполлоновича, богоподобное, строгое, превратилось в маску: ужимочки, бесцельные потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушечье выражение улыбки, проистекавшее от несходившей с лица игры всевозможнейших типов, заслонили навек то лицо от нее. И как только это заметила Софья Петровна, она к ужасу своему поняла, что была в то лицо влюблена, в то, а не это. Ангел Пери хотела быть примерной женой: а ужасная мысль, что, будучи верной, она уже увлеклась не мужем, – эта мысль совершенно разбила ее. Но далее, далее: из-под

маски, ужимок, лягушечьих уст она бессознательно вызывала безвозвратно потерянную влюбленность: она мучила Аблеухова, осыпала его оскорблениями; но, таясь от себя, рыскала по его следам, узнавала его стремленья и вкусы, бессознательно им следовала, все надеясь обрести в них подлинный, богоподобный лик; так она заломалась: появилась на сцену сперва мело-пластика, потом кирасир барон Оммау-Оммергау, наконец, появилась Варвара Евграфовна с жестяною кружкою для собирания *фифок*.

Словом, Софья Петровна запуталась: ненавидя, любила; любя, навидела.

С той поры ее действительный муж Сергей Сергеич Лихутин обратился всего-навсего в посетителя квартирки на Мойке: стал заведовать, где-то там, провиантом; уходил из дому рано утром; появлялся с полуночи: говорил для приличия *фифку*, опуская в кружку двугривенный, или скромно кивал головой на слова «*революция – эволюция*», выпивал чашку чая и шел к себе спать: надо же было утром как можно ранее встать и идти где-то там, заведовать провиантом. Оттого лишь Сергей Сергеич, где-то там, стал заведовать провиантом, что свободы жены не хотел он стеснять.

Но свободы Софья Петровна не вынесла: у нее ведь был такой крошечный, крошечный лобик; вместе с крошечным лобиком в ней таились вулканы углубленнейших чувств: потому что она была дама; а в дамах нельзя будить хаоса: в этом хаосе скрыты у дамы все виды жестокостей, преступлений, падений, все виды неистовых бешенств, как все виды на земле еще не бывалых геройств; в каждой даме таится преступница: но совершись преступление, кроме святости ничего не останется в истинно дамской душе.

Скоро мы без сомнения докажем читателю существующую разделенность и души Николая Аполлоновича на две самостоятельные величины: богоподобный лед – и просто лягушечья слякоть; та вот двойственность и является принадлежностью любой дамы: двойственность – по существу не мужская, а дамская принадлежность; цифра два – символ дамы; символ мужа – единство. Только так получается троичность, без которой возможен ли домашний очаг?

Двойственность Софьи Петровны мы выше отметили: нервность движений – и неуклюжая вялость; недостаточность лобика и чрезмерность волос; Фузи-Яма, Вагнер, верность женского сердца – и «*Анри Безансон*», граммофон, барон Оммергау и даже Липпанченко. Будь Сергей Сергеич Лихутин или Николай Аполлонович действительными единствами, а не двойцами, троичность бы была; и Софья Петровна нашла бы гармонию жизни в союзе с мужчиной; граммофон, мелопластика, Анри Безансон, Липпанченко, даже Оммау-Оммергау полетели бы к черту.

Но не было единого Аблеухова: был номер первый, богоподобный, и номер второй, лягушонок. Оттого-то все то и произошло.

Что же произошло?

В Софье Петровне Николай Аполлонович-лягушонок увлекся глубоким сердечком, приподнятым надо всей суетой; не крохотным лобиком – волосами; а божественность Николая Аполлоновича, презирая любовь, упивалась цинично так мелопластикой; оба спорили в нем, кого любить: бабенку ли, ангела ли? Ангел Софья Петровна, как ангелу естественно подобает, возлюбила лишь *бога*: а бабенка запуталась: неприятной улыбкой она сперва возмущалась, а потом она полюбила именно это свое возмущение; полюбивши же ненависть, полюбила гаденькую улыбку, но какою-то странной (все сказали бы, что развратной) любовью: что-то было во всем этом неестественно жгучее, неизведанно сладкое, роковое.

Неужели же в Софье Петровне Лихутиной пробудилась преступница? Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом: дама и дама...

А от дамы что спрашивать!

Красный шут

Собственно говоря, последние месяцы с предметом своим Софья Петровна держала себя до крайности вызывающе: пред граммофонной трубой, изрыгающей «Смерть *Зигфрида*», она училась телодвижению (и еще какому!), поднимая едва ли не до колен свою шелком шуршащую юбку; далее: ножка ее из-под столика Аблеухова касалась не раз и не два. Неудивительно, что этот последний не раз ангела и порывался обнять; но тогда ускользал ангел, сперва обливая поклонника холодом: и потом опять принимался за старое. Но когда однажды она, защищая греческое искусство, предложила составить кружок для целомудренных обнажений, Николай Аполлонович не выдержал: вся многодневная его безысходная страсть бросилась в голову (Николай Аполлонович в борьбе ее уронил на софу)...

Но Софья Петровна мучительно укусила до крови губ ее искавшие губы, а когда Николай Аполлонович растерялся от боли, то пощечина звонко огласила японскую комнату.

– «Уу... Урод, лягушка... Ууу – красный шут».

Николай Аполлонович ответил спокойно и холодно:

– «Если я – красный шут, вы – японская кукла...»

С чрезвычайным достоинством распрямился он у дверей; в этот миг лицо его приняло именно то далекое, ею однажды пойманное выражение, вспоминая которое, незаметно она его полюбила; и когда ушел Николай Аполлонович, она грохнулась на пол, и царапая, и кусая в плаче ковер; вдруг вскочила она и простерла в дверь руки:

– «Приходи, вернись – бог!»

Но в ответ ей ухнула выходная дверь: Николай Аполлонович бежал к большому петербургскому мосту. Ниже увидим мы, как у моста он принял одно роковое решение (при свершении некого акта погубить и самую жизнь). Выражение «*Красный шут*» чрезвычайно задело его.

Более Софья Петровна Лихутина его не видала: из какого-то дикого протеста к аблеуховским увлечениям *революцией – эволюцией* ангел Пери невольно отлетел от учащейся молодежи, прилетая к баронессе К. К. на спиритический сеанс. И Варвара Евграфовна стала реже заходить. Зато опять зачастили: и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден, и даже... Липпанченко: и Липпанченко чаще прочих. С графом Авеном, бароном Оммау-Оммергау, со Шпорышевым и с Вергефденом, даже... с Липпанченко она хохотала без усталости; вдруг, оборвав смех, она спрашивала задорно:

– «Я ведь кукла – не правда ли?»

И они отвечали ей фифками, сыпали серебро в жестяную кружечку с надписью «*благотворительный сбор*». А Липпанченко ей ответил: «Вы – душкан, бранкукан, бранкукашка». И принес ей в подарок желтолицую куколку.

А когда она это самое сказала и мужу, ничего не ответил ей муж, Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Гр-горийского, Его Величества Короля Сиамского полка, и ушел будто спать: он заведовал, где-то там, провиантами; но войдя в свою комнату, он уселся писать Николаю Аполлоновичу кроткое свое письмецо: в письмеце он осмелился известить Аблеухова, что он, Сергей Сергеевич, подпоручик Гр-горийского полка, покорнейше просит о следующем: не желая вмешиваться по причинам принципиальным в отношения Николая Аполлоновича к бесценно им любимой супруге, тем не менее он просит настойчиво (слово настойчиво было три раза подчеркнуто) навсегда оставить их дом, ибо нервы его бесценно любимой супруги расстроены. О своем поведении Сергей Сергеевич скрыл; поведение его не изменилось ни капли: так же он уходил спозаранку; возвращался к полуночи; говорил для приличия *фифку*, если видел барона Оммау-Оммергау, чуть-чуть хмурился, если видел Липпанченко, благодушней-

шим образом кивал головой на слова *эволюция – революция*, выпивал чашку чая и тихонько скрывался: он заведовал – где-то там – провиантами.

Был Сергей Сергеич высокого роста, носил белокурую бороду, обладал носом, ртом, волосами, ушами и чудесно блистающими глазами: но он был, к сожалению, в темно-синих очках, и никто не знал ни цвета глаз, ни чудесного этих глаз выраженья.

Подлость, подлость и подлость

В эти мерзлые, первооктябрьские дни Софья Петровна была в необычайном волнении; оставаясь одна, в оранжейке, вдруг она начинала морщить свой лобик, и вспыхивать: становилась пунцовой; подходила к окну, чтоб платочком из нежного сквозного батиста протереть запотевшие стекла; стекло начинало повизгивать, открывая вид на канал с проходившим мимо господином в цилиндре – не более; будто бы обманувшись в предчувствии, ангел Пери зубками начинал теревить и кромсать засыревший платочек, и потом бежал надевать свою черную шубку из плюша и такую же шапочку (Софья Петровна одевалась прескромно), чтоб, прижавши к носику меховую муфту, суетливо слоняться от Мойки до набережной; даже раз зашла она в цирк Чинизелли и увидела там природное диво: бородатую женщину; чаще же всего забегала она на кухню и шепталась с молоденькой горничной, Маврушкой, прехорошенькой девочкой в фартучке и бабочкообразном чепце. И косили глаза: так всегда у нее косили глаза в минуты волнений.

А, однажды, она при Липпанченко, с хохотом выхватила шпильку от шляпы и всадила в мизинчик:

– «Посмотрите: не больно; и крови нет: восковая я... кукла».

Но Липпанченко ничего не понял: рассмеялся, сказал:

– «Вы не кукла: душкан».

И его, рассердясь, от себя прогнал ангел Пери. Схватив со стола свою шапку с наушниками, удалился Липпанченко.

А она металась в оранжейке, морщила лобик, вспыхивала, протирала стекло; прояснялся вид на канал с пролетавшей мимо каретой: не более.

Что же более?

Дело вот в чем: несколько дней назад Софья Петровна Лихутина возвращалась домой от баронессы К. К. У баронессы К. К. в этот вечер были постукиванья; белесоватые искорки бегали по стене; и однажды подпрыгнул даже стол: ничего более; но нервы Софьи Петровны натянулись до крайности (после сеанса она бродила по улицам), а ее домовый подъезд не освещался (для дешевых квартир не освещают подъездов): и внутри черного подъездного входа Софья Петровна так явственно видела, как уставилось на нее еще черней темноты пятно, будто черная маска; что-то мутно краснело под маской, и Софья Петровна что есть силы дернула за звонок. А когда распахнулась дверь и струя яркого света из передней упала на лестницу, вскрикнула Маврушка и всплеснула руками: Софья Петровна ничего не увидела, потому что стремительно она пролетела в квартиру. Маврушка видела: за спиной у барыни красное, атласное домино протянуло вперед свою черную маску, окруженную снизу густым веером кружев, разумеется, черных же, так что эти черные кружева на плечо упали к Софье Петровне (хорошо, что она не повернула головки); красное домино протянуло Маврушке свой кровавый рукав, из которого торчала визитная карточка; и когда пред рукою захлопнулась дверь, то и Софья Петровна увидела у двери визитную карточку (пролетела, верно, в щель двери); что же было начертано на визитной той карточке? Череп с костями вместо дворянской короны да еще модным шрифтом набранные слова: «Жду вас в маскараде – там-то, такого-то числа»; и далее подпись: «*Красный щит*».

Софья Петровна весь вечер проволновалась ужасно. Кто мог нарядиться в красное домино? Разумеется, он, Николай Аполлонович: ведь его она этим именем как-то раз назвала...

Красный шут и пришел. В таком случае как назвать подобный поступок с беззащитною женщиной? Ну, не подлость ли это?

Подлость, подлость и подлость.

Поскорее бы возвращался муж, офицер: он проучит нахала. Софья Петровна краснела, косила, кусала платочек и покрывалась испариной. Хоть бы кто-нибудь приходил: хоть бы Авен, хоть бы барон Оммау-Оммергау, или Шпорышев, или даже... Липпанченко. Но никто не являлся.

Ну, а вдруг то не он? И Софья Петровна явственно в себе ощутила расстройство: было жалко как-то расстаться с мыслями о том, что шут – он; в этих мыслях вместе с гневом сплелось то же сладкое, знакомое, роковое чувство; ей хотелось, должно быть, чтобы он оказался – совершеннейшим подлецом.

Нет – не он: не подлец же он, не мальчишка!.. Ну, а если это сам красный шут? Кто такой красный шут, на это она не могла себе внятно ответить: а – все-таки... И упало сердце: не он.

Маврушке тут же она приказала молчать: в маскарад же поехала; и тайком от кроткого мужа: в первый раз она поехала в маскарад.

Дело в том, что Сергей Сергеич Лихутин строго-настрого запретил ей бывать в маскарадах. Станный был: эполетом, шпагою, офицерскою честью дорожил (не бурбон ли?).

Кротость кротостью... вплоть до пунктика, до офицерской до чести. Скажет только: «Даю офицерское честное слово – быть тому-то, а тому – не бывать». И – ни с места: непреклонность, жестокость какая-то. Как, бывало, на лоб приподнимет очки, станет сух, неприятен, деревянен, будто вырезан из белого кипариса, кипарисовым кулаком простучит по столу; ангел Пери тогда испуганно вылетал из мужниной комнаты: носик морщился, капали слезки, запиралась озлобленно спальная дверь.

Из числа посетителей Софьи Петровны, из *гостей так сказать*, толковавших о *революции – эволюции*, был один почтенный газетный сотрудник: Нейнтельпфайн; черный, сморщенный, с носом, загнутым сверху вниз, и с бородкой, загнутой в обратную сторону. Софья Петровна его уважала ужасно: и ему-то доверилась; он и свез ее в маскарад, где какие-то все шуты-арлекины, итальянки, испанки и восточные женщины из-под черных бархатных масок друг на друга поблескивали недобрыми огоньками глаз; под руку с Нейнтельпфайном, почтенным газетным сотрудником, Софья Петровна скромно расхаживала по залам в черном своем домино. И какое-то красное, атласное домино все металось по залам, все искало кого-то, протянув вперед свою черную маску, под которой плескался густой веер из кружев, разумеется, черных же.

Вот тогда-то Софья Петровна Лихутина и рассказала верному Нейнтельпфайну о загадочном происшествии, ну, конечно, спрятав все нити; маленький Нейнтельпфайн, почтенный сотрудник газеты, получал пятак за строку: с той поры и пошло, и пошло, что ни день – в «*Дневнике происшествий*» заметка; красное домино, да красное домино!

О домино рассуждали, волновались ужасно и спорили; одни видели тут революционный террор; а другие только молчали да пожимали плечами. В охранный отделенный раздавались звонки.

Говорили о странном том появлении домино на улицах Петербурга даже в оранжерейке; и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и лейб-гусар Шпорышев, и Вергефден отпускали *фифки* по этому поводу, и летел в медную кружечку непрерывный дождь из двугривенных; только хитрый хохол-малоросс Липпанченко как-то криво смеялся. А сама Софья Петровна Лихутина, вне себя, пунцовела, бледнела, покрывалась испариной и кусала платочек. Нейнтельпфайн оказался просто скотиной, но Нейнтельпфайн не показывался: изо дня в день он

усердно вытягивал газетные стрки; и тянулась, тянулась газетная ахинея, покрывая мир совершеннейшей ерундой.

Совершенно прокуренное лицо

Николай Аполлонович Аблеухов стоял над лестничной балюстрадой в своем пестром халатике и раскидывал во все стороны переливчатый блеск, составляя полную противоположность колонне и столбику алебаstra, откуда белая Ниобея поднимала горе свои алебастровые глаза.

Николай Аполлонович, перегнувшийся через перила, что-то крикнул по направлению к передней, но на выкрик ответила сперва тишина, а потом ответила с чрезмерной отчетливостью неожиданная, протестующая фистула:

– «Николай Аполлонович, вы, наверное, приняли меня за другого...»

– «Я это – я...»

Там внизу стоял незнакомец с черными усиками и в пальто с поднятым воротником.

Николай Аполлонович тут оскалился с балюстрады в неприятной улыбке:

– «Это вы, Александр Иванович?.. Чрезвычайно приятно!»

И потом лицемерно добавил он:

– «Без очков не узнал...»

.....

Преодолевая неприятное впечатление присутствия незнакомца в лакированном доме, Николай Аполлонович с балюстрады продолжал кивать головой:

– «Я, признаться, с постели: оттого-то я и в халате» (будто этим упоминанием невзначай Николай Аполлонович хотел дать понять посетителю, что этот последний в неурочное время нанес свой визит; от себя мы прибавим: все последние ночи Николай Аполлонович пропадал).

Незнакомец с черными усиками представлял своею персоною чрезвычайно жалкое зрелище на богатом фоне орнамента из старинных оружий; тем не менее незнакомец храбрился, продолжая с жаром успокаивать Николая Аполлоновича – не то насмехаясь, а не то будучи совершеннейшим простаком:

– «Это ровно ничего не значит, Николай Аполлонович, что вы прямо с постели... Совершеннейший пустяк, уверяю вас: вы не барышня, да и я не барышня тоже... Ведь я сам только встал...»

Нечего делать. Пересилив в душе неприятное впечатление (оно было вызвано появлением незнакомца – здесь, в лакированном доме, где лакеи могли основательно недоумевать, где, наконец, незнакомец мог быть встречен папашею) – пересилив в душе неприятное впечатление, Николай Аполлонович вознамерился двинуться вниз, чтоб достойно, по-аблеуховски, ввести в лаковый дом щепетильного гостя; но, к досаде, его меховая туфелька соскочила с ноги; и босая ступня закачалась из-под полы халата; Николай Аполлонович на ступеньках споткнулся; и вдобавок он подвел незнакомца: предположивши, что Николай Аполлонович в порыве обычной угодливости бросится к нему вниз (Николай Аполлонович уже выказал в направлении этом всю стремительность своих жестов), незнакомец с черными усиками бросился в свою очередь к Николаю Аполлоновичу и оставил мутный свой след на бархатно-серых ступенях; теперь же незнакомец мой растерянно стал меж передней и верхом; и при этом увидел он, что пятнает ковер; незнакомец мой сконфуженно улыбнулся.

– «Раздевайтесь, пожалуйста».

Деликатное напоминание о том, что в барские комнаты в пальто никак невозможно проникнуть, принадлежало лакею, которому на руки с отчаянной независимостью стряхнул незнакомец мокрое свое пальтецо; он стоял теперь в серой, клетчатой паре, подъеденной молью.

Видя, что лакей намерен руку протянуть и к мокрому узелку, незнакомец мой вспыхнул; вспыхнувши, вдвойне законфузился он:

- «Нет, нет...»
- «Да пожалуйста-с...»
- «Нет: это возьму я с собою...»

Незнакомец с черными усиками с тем же все на все махнувшим упорством разблеставшийся скользкий паркет попирали дырявой ботинкою; удивленные, мимолетные взоры он бросал на роскошную перспективу из комнат. Николай Аполлонович с особенной мягкостью, подобравши полы халата, предшествовал незнакомцу. Но обоим им показалось томительным их безмолвное странствие в этих блещущих перспективах: оба грустно молчали; незнакомцу с черными усиками Николай Аполлонович подставлял с облегчением не лицо, а свою переливную спину; потому-то, верно, улыбка и сбежала с неестественно перед тем улыбавшихся уст его. От себя же прямо заметим: Николай Аполлонович струсил; в голове его быстро вертелось: «Вероятно, какой-нибудь благотворительный сбор – пострадавший рабочий; в крайнем случае – на вооружение...» А в душе тоскливо заныло: «Нет, нет – не это, а то?»

Пред дубовую дверь своего кабинета Николай Аполлонович к незнакомцу повернулся вдруг круто; на лице у обоих мгновенно скользнула улыбка; оба вдруг поглядели друг другу в глаза с выжидательным выражением.

- «Так пожалуйста... Александр Иванович...»
- «Не беспокойтесь...»
- «Милости просим...»
- «Да нет, нет...»

Приемная комната Николая Аполлоновича составляла полную противоположность строгому кабинету: она была так же пестра, как... как бухарский халат; халат Николая Аполлоновича, так сказать, продолжался во все принадлежности комнаты: например, в низкий диван; он скорее напоминал восточное пестротканое ложе; бухарский халат продолжался в табуретку темно-коричневых цветов; она была инкрустирована тоненькими полосками из слоновой кости и перламутра; халат продолжался далее в негритянский щит из толстой кожи когда-то павшего носорога, и в суданскую ржавую стрелу с массивною рукоятью; для чего-то ее тут повесили на стене; наконец, продолжался халат в шкуру пестрого леопарда, брошенного к их ногам с разинутой пастью; на табуретке стоял темно-синий кальянный прибор и трехногая золотая курильница в виде истыканного отверстиями шара с полумесяцем наверху; но всего удивительнее была пестрая клетка, в которой от времени до времени начинали бить крыльями зеленые попугайчики.

Николай Аполлонович пододвинул гостю пеструю табуретку: незнакомец с черными усиками опустил на край табуретки и вытащил из кармана дешевенький портсигар.

- «Вы позволите?»
- «Сделайте одолжение».
- «Вы не курите сами?»
- «Нет, не имею обыкновения...»

И тотчас же, законфузившись, Николай Аполлонович прибавил:

- «Впрочем, когда другие курят, то...»
- «Вы отворяете форточку?»
- «Что вы, что вы!..»
- «Вентилятор?»

– «Ах, да нет... совсем наоборот – я хотел сказать, что курение мне доставляет скорее...» – заторопился Николай Аполлонович, но не слушавший его гость продолжал перебивать:

- «Вы сами выходите из комнаты?»

– «Ах, да нет же: я хотел сказать, что люблю запах табачного дыма, и в особенности сигар».

– «Напрасно, Николай Аполлонович, совершенно напрасно: после курильщиков...»

– «Да?..»

– «Следует...»

– «Так?»

– «Быстро проветривать комнату».

– «Что вы, о, что вы!»

– «Открывая и форточку, и вентилятор».

– «Наоборот, наоборот...»

.....

– «Не защищайте, Николай Аполлонович, табак: это я говорю вам по опыту... Дым проникает серое мозговое вещество... Мозговые полушария засариваются: общая вялость проливается в организм...»

Незнакомец с черными усиками подмигнул с фамильярной значительностью; незнакомец увидел и то, что хозяин все-таки сомневается в проницаемости серого мозгового вещества, но из привычки быть любезным хозяином не будет оспаривать гостя: тогда незнакомец с черными усиками эти черные усики стал огорченно выщипывать:

– «Посмотрите вы на мое лицо».

Не найдя очков, Николай Аполлонович приблизил свои моргавшие веки вплоть к лицу незнакомца.

– «Видите лицо?»

– «Да, лицо...»

– «Бледное лицо...»

– «Да, несколько бледноватое», – и игра всевозможных учтивостей с их оттенками разлилась по щекам Аблеухова.

– «Совершенно зеленое, прокуренное лицо», – оборвал его незнакомец – «лицо курильщика. Я прокурю у вас комнату, Николай Аполлонович».

Николай Аполлонович давно ощущал беспокойную тяжесть, будто в комнатную атмосферу проливался свинец, а не дым; Николай Аполлонович чувствовал, как засаривались его полушария мозга и как общая вялость проливалась в его организм, но он думал теперь не о свойствах табачного дыма, а о том думал он, как ему с достоинством выйти из щекотливого случая, как бы он, – думал он, – поступил в том рискованном случае, если бы незнакомец, если бы...

Эта свинцовая тяжесть не относилась нисколько к дешевенькой папироске, протянувшей в высь свою синеватую струечку, а скорее она относилась к угнетенному состоянию духа хозяина. Николай Аполлонович ежесекундно ждал, что беспокойный его посетитель оборвет свою болтовню, заведенную, видимо, с единственной целью – терзать его ожиданием – да: оборвет свою болтовню и напомним о том, как он, Николай Аполлонович, дал в свое время чрез посредство странного незнакомца – как бы точнее сказать...

Словом, дал в свое время ужасное для себя обязательство, которое выполнить принуждала его не одна только честь; ужасное обещание дал Николай Аполлонович разве только с отчаянья; побудила к тому его житейская неудача; впоследствии неудача та постепенно изгладилась. Казалось бы, что ужасное обещание отпадает само собой: но ужасное обещание оставалось: оставалось оно, хотя бы уж потому, что назад не было взято: Николай Аполлонович, по правде сказать, основательно о нем позабыл; а оно, обещание, продолжало жить в коллективном сознании одного необдуманного кружка, в то самое время, когда ощущение горькости бытия под влиянием неудачи изгладилось; сам Николай Аполлонович свое обещание несомненно отнес бы к обещаниям шуточного характера.

Появление разночинца с черными усиками, в первый раз после этих истекших двух месяцев, наполнило душу Николая Аполлоновича основательным страхом. Николай Аполлонович совершенно отчетливо вспомнил чрезвычайно печальное обстоятельство. Николай Аполлонович совершенно отчетливо вспомнил все мельчайшие подробности обстановки своего обещания и нашел те подробности вдруг убийственными для себя.

Почему же... – не то, что дал он ужасное обещание, а то, что ужасное обещание он дал легкомысленной партии?

Ответ на этот вопрос был прост чрезвычайно: Николай Аполлонович, занимаясь методикой социальных явлений, мир обрекал огню и мечу.

И вот он бледнел, серел и наконец стал зеленым; даже как-то вдруг засинело его лицо; вероятно, этот последний оттенок зависел просто от комнатной атмосферы, протабаченной донельзя.

Незнакомец встал, потянулся, с нежностью покосился на узелок и вдруг детски так улыбнулся.

– «Видите, Николай Аполлонович (Николай Аполлонович испуганно вздрогнул)... я собственно пришел к вам не за табаком, то есть не о табаке... это про табак совершенно случайно...»

– «Понимаю».

– «Табак табаком: а я, собственно, не о табаке, а о деле...»

– «Очень приятно...»

– «И даже я не о деле: вся суть тут в услуге – и эту услугу вы, конечно, можете мне оказать...»

– «Как же, очень приятно...»

Николай Аполлонович еще более посинел; он сидел и выщипывал диванную пуговку; и не выщипнув пуговки, принялся выщипывать из дивана конские волосы.

– «Мне же крайне неловко, но помня...»

Николай Аполлонович вздрогнул: резкая и высокая фистула незнакомца разрежала воздух; фистуле этой предшествовала секунда молчания; но секунда та часом ему показалась, часом тогда. И теперь, услышавши резкую фистулу, произносившую «*помня*», Николай Аполлонович едва не выкрикнул вслух:

– «О моем предложении?...»

Но он тотчас же взял себя в руки; и он только заметил:

– «Так, я к вашим услугам», – и при этом подумал он, что вот вежливость погубила его...

– «Помня о вашем сочувствии, я пришел...»

– «Все, что могу», – выкрикнул Николай Аполлонович и при этом подумал, что он – болван окончательно...

– «Маленькая, о, вовсе маленькая услуга...» (Николай Аполлонович чутко прислушивался):

– «Виноват... не позволите ли мне пепельницу?...»

Учащались ссоры на улицах

Дни стояли туманные, странные: по России на севере проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь; а на юге развесил он гнилые туманы. Ядовитый октябрь обдувал золотой лесной шепот, – и покорно ложился на землю шелестящий осинный баgreц, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода, и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов. Та синичья сладкая пискотня, что купается сентябрем в волне лиственной, в волне лиственной не купалась давно: и сама синичка теперь сиротливо скакала в черной сети из сучьев, что как

шамканье беззубого старика посылает всю осень свой свист из лесов, голых рощ, палисадников, парков.

Дни стояли туманные, странные; ледяной ураган уже приближался клоками туч, оловянных и синих; но все верили в весну: о весне писали газеты, о весне рассуждали чиновники четвертого класса; на весну указывал один тогда популярный министр; ароматом, ну, прямо-таки первомайских фиалок задышали излияния одной петербургской курсистки.

Пахари давно перестали скрести трухлявые земли; побросали пахари бороны, сохи; собирались под избами пахари в свои убогие кучечки для совместного обсуждения газетных известий; толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг кинуться к барскому дому с колонками, отразившемуся в волжских, камских или даже днепровских струях; во все долгие ночи над Россией сияли кровавые зарева деревенских пожаров, разрешаясь днем в черноту столбов дымовых. Но тогда в облетающей заросли можно было увидеть спрятанный отряд космоголовых казаков, направляющих дула своих винтовок на гудящий набат; на клочковатых своих лошадях во всю прыть потом вылетал казацкий отряд: синие бородатые люди, размахавшись нагайками, долго-долго с гиком носились по осеннему лугу и туда, и сюда. Так было в селах.

Но так было и в городах. В мастерских, типографиях, парикмахерских, молочных, трактирчиках все вертелся какой-то многоречивый субъект; нахлобучив на лоб косматую черную шапку, завезенную, видно, с полей обгащенной кровью Манджурии; и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман, многоречивый субъект многократно совал первому встречному в руку плохо набранный листик.

Все чего-то ждали, боялись, надеялись; при малейшем шуме высыпали быстро на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь; в Архангельске так поступали лопари, корелы и финны; в Нижне-Колымске – тунгузы; на Днепре – и жида, и хохлы. В Петербурге, в Москве – поступали так все: поступали в средних, высших и низших учебных заведениях: ждали, боялись, надеялись; при малейшем шорохе высыпали быстро на улицу; собирались в толпу и опять рассыпались.

Учащались ссоры на улицах: с дворниками, сторожами; учащались ссоры на улицах с захудалым квартальным; дворника, полицейского и особенно квартального надзирателя задирал пренахально: рабочий, пригостишка, мещанин Иван Иванович Иванов с супругой Иванихой, даже лавочник – первой гильдии купец Пузанов, от которого в лучшие и недавно минувшие дни околоточный *разжигался* то осетринкой, то семушкой, то зернистой икоркой; но теперь вместо семушки, осетринки, зернистой икорки на квартального надзирателя вместе с прочею «сволочью» вдруг восстал первой гильдии, его степенство, купец Пузанов, личность небезызвестная, многократно бывавшая в губернаторском доме, ибо как-никак, – рыбные промыслы и потом пароходство на Волге: как-никак, от такого *случая* присмирел околоточный. Серенький сам, в сереньком своем пальтеце проходил он теперь незаметною тенью, подбирая почтительно шашку и держа вниз глаза: а ему это в спину словесные замечания, выговор, смехи и даже непристойная брань; участковый же пристав на все это: «Не сумеете снискать доверия у населения, подавайте в отставку». Ну и снискивал он доверие: бунтовал и он против произвола правительства, или он вступал в особое соглашение с обитателями пересыльной тюрьмы.

Так в те дни влачил свою жизнь околоточный надзиратель где-нибудь в Кеми: так же он влачил эту жизнь в Петербурге, Москве, Оренбурге, Ташкенте, Сольвычегодске, словом, в тех городах (губернских, уездных, заштатных), кои входят в состав Российской Империи.

Петербург окружает кольцо многотрубных заводов.

Многотысячный людской рой к ним бредет по утрам; и кишмя кишит пригород; и роится народом. Все заводы тогда волновались ужасно, и рабочие представители толп превратились все до единого в многоречивых субъектов; среди них циркулировал браунинг; и еще кое-что. Там обычные рои в эти дни возрастали чрезмерно и сливались друг с другом в многоголовую, многоголосую, огромную черноту; и фабричный инспектор хватался тогда за телефонную

трубку: как, бывало, за трубку он схватится, так и знай: каменный град полетит из толпы в оконные стекла.

То волнение, охватившее кольцом Петербург, проникало как-то и в самые петербургские центры, захватило сперва острова, перекинулось Литейным и Николаевским мостами; и оттуда хлынуло на Невский Проспект: и хотя на Невском Проспекте та же все была циркуляция людской многоножки, однако состав многоножки изменялся разительно; опытный взор наблюдателя уже давно отмечал появление черной шапки косматой, нахлобученной, завезенной сюда с полей обгащенной кровью Манджурии: то на Невском Проспекте зашагал многоречивый субъект, и понизился вдруг процент проходящих цилиндров; многоречивый субъект обнаруживал здесь свое исконное свойство: он тыкался плечами, запихав в рукава пальцы изыбших рук; появились также на Невском беспокойные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся что есть дух от вокзала к Адмиралтейству и махавших красного цвета журнальчиками.

Во всем прочем не было изменений; только раз – Невский залили толпы в сопровождении духовенства: несли на руках один профессорский гроб, направляясь к вокзалу: впереди же шло море зелени; развевались кровавые атласные ленты.

Дни стояли туманные, странные: проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь; замороженная пыль носилась по городу бурыми вихрями; и покорно лег на дорожках Летнего сада золотой шепот лиственный, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода, и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов; та синичья сладкая пискотня, что купалась весь август в волне лиственной, в волне лиственной не купалась давно: и сама синичка Летнего сада теперь сиротливо скакала в черной сети из сучьев, по бронзовой загородке да по крыше Петровского домика.

Таковы были дни. А ночи – выходил ли ты по ночам, забирался ли в глухие, подгородные пустыри, чтобы слышать неотвязную, злую ноту на «у»? Уууу-уууу-уууу: так звучало в пространстве; звук – был ли то звук? Если то и был звук, он был несомненно звук иного какого-то мира; достигал этот звук редкой силы и ясности: «уууу-уууу-ууу» раздавалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес.

Слышал ли и ты октябрёвскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было; этой песни не будет никогда.

Зовет меня мой Дельвиг милый

Проходя по красной лестнице Учреждения, опираясь рукой о мрамор холодный перил, Аполлон Аполлонович Аблеухов зацепился носком за сукно и – споткнулся; непроизвольно замедлился его шаг; следовательно: совершенно естественно, что очи его (безо всякой предвзятости) задержались на огромном портрете министра, устремившего пред собой грустный и сострадательный взгляд.

По позвоночнику Аполлона Аполлоновича пробежала мурашка: в Учреждении мало топили. Аполлону Аполлоновичу эта белая комната показалась равниной.

Он боялся пространств.

Их боялся он более, чем зигзагов, чем ломаных линий и секторов; деревенский ландшафт его прямо пугал: за снегами и льдами там, за лесною гребенчатой линией поднимала пурга перекрестность воздушных течений; там, по глупой случайности, он едва не замерз.

Это было тому назад пятьдесят лет.

В этот час своего одинокого замерзания будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно ему просунувшись в грудь, жестко погладили сердце: ледяная рука повела за собой; за ледяною

рукою он шел по ступеням карьеры, пред глазами имея все тот же роковой, невероятный простор; там, оттуда, – манила рука ледяная; и летела безмерность: Империя Русская.

Аполлон Аполлонович Аблеухов за городской стеною засел много лет, всей душой ненавидя уездные сиротливые дали, дымок деревенок и на пугале сидящую галку; только раз эти дали дерзнул перерезать в экспрессе он, направляясь с ответственным поручением из Петербурга в Токио.

О своем пребывании в Токио Аполлон Аполлонович никому не рассказывал.

Да – по поводу портрета министра... Он министру говаривал:

– «Россия – ледяная равнина, по которой много сот лет, как зарыскали волки...»

Министр поглядывал на него бархатистым и душу ласкающим взглядом, глядя белой рукой седой холеный ус; и молчал, и вздыхал. Министр принимал количество управляемых ведомств, как мучительный, жертвенный, распинающий крест; он собирался было по окончании службы...

Но он умер.

Теперь он покоился в гробе: Аполлон Аполлонович Аблеухов теперь – совершенно один; позади него – в неизмеримости убегали века; впереди – ледяная рука открывала: неизмеримости.

Неизмеримости полетели навстречу.

Русь, Русь! Видел – тебя он, тебя!

Это ты разревелась ветрами, буранами, снегом, дождем, гололедицей – разревелась ты миллионами живых заклиняющих голосов! Сенатору в этот миг показалось, будто голос некий в пространствах его призывает с одинокого гробового бугра; не качается одинокий там крест; не мигает на снежные вихри лампадка; только волки голодные, собираясь в стаи, жалко вторят ветрам.

Несомненно в сенаторе развивались с течением лет боязни пространства.

Болезнь обострилась: со времени той трагической смерти; верно, образ ушедшего друга посещал его по ночам, чтобы в долгие ночи поглядывать бархатным взглядом, глядя белой рукой седой холеный ус, потому что образ ушедшего друга постоянно теперь сочетался в сознании со стихотворным отрывком:

И нет его – и Русь оставил он,
Взнесенну им...

В сознании Аполлона Аполлоновича тот отрывок вставал, когда он, Аполлон Аполлонович Аблеухов, пересекал зал.

За приведенным стихотворным отрывком вставал стихотворный отрывок:

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас ушедший гений.

Строй стихотворных отрывков обрывался сердито:

И над землей сошлись новы тучи,

И ураган их...

Вспоминая отрывки, Аполлон Аполлонович становился особенно сух; и с особою четкостью выбегал он к просителям подавать свои пальцы.

Между тем разговор имел продолжение

Между тем разговор Николая Аполлоновича с незнакомцем имел продолжение.

– «Мне поручено», – сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, – «да: мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».

– «Только-то!» – вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить, что смутившее его появление незнакомца, не касаясь нисколько того *ужасного* предложения, всего-навсего связано с безобиднейшим узелочком; и в порыве рассеянной радости он готов уже был расцеловать узелочек; и его лицо покрылось ужимками, проявляя бурную жизнь; он стремительно встал и направился к узелочку; но тогда незнакомец почему-то встал тоже, и почему-то и он кинулся вдруг меж узелком и Николай Аполлоновичем; а когда рука сенаторского сына протянулась к пресловутому узелку, то рука незнакомца пальцами бесцеремонно охватила пальцы Николая Аполлоновича:

– «Осторожнее, ради Бога...»

Николай Аполлонович, пьяный от радости, пробормотал какое-то невнятное извинение и опять протянул рассеянн свою руку к предмету; и вторично предмет воспрепятствовал ему взять незнакомец, умоляюще протянув свою руку:

– «Нет: я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович, бережнее...»

– «Аа... да, да...» – Николай Аполлонович и на этот раз ничего не расслышал: но едва ухватил узелок он за край полотенца, как незнакомец на этот раз прокричал ему в ухо совершенно рассерженным голосом...

– «Николай Аполлонович, повторяю вам в третий раз: бережнее...»

Николай Аполлонович на этот раз удивился...

– «Вероятно, литература?...»

– «Ну, нет...»

.....

В это время раздался отчетливый металлический звук: что-то щелкнуло; в тишине раздался тонкий писк пойманной мыши; в то же мгновение опрокинулась мягкая табуретка и шаги незнакомца затопали в угол:

– «Николай Аполлонович, Николай Аполлонович», – раздался испуганный его голос, – «Николай Аполлонович – мышь, мышь... Поскорей прикажите слуге вашему... это, это... прибрать: *это* мне... я не могу...»

Николай Аполлонович, положив узелочек, удивился смятению незнакомца:

– «Вы боитесь мышей?..»

– «Поскорей, поскорей унесите...»

Выскочив из своей комнаты и нажав кнопку звонка, Николай Аполлонович представлял собою, признаться, пренелепое зрелище; но нелепее всего было то обстоятельство, что в руке он держал... трепетно бьющуюся мышку; мышка бегала, правда, в проволочной ловушке, но Николай Аполлонович рассеянн наклонил к ловушке вплотную примечательное лицо и с величайшим вниманием теперь разглядывал свою серую пленницу, проводя длинным холемым ногтем желтоватого цвета по металлической проволоке.

– «Мышка», – поднял он глаза на лакея; и лакей почтительно повторил вслед за ним:

– «Мышка-с... Она самая-с...»

– «Ишь ты: бегают, бегают...»

– «Бегают-с...»

– «Тоже вот, боится...»

– «А как же-с...»

Из открытой двери приемной выглянул теперь незнакомец, посмотрел испуганно и опять спрятался:

– «Нет – не могу...»

– «А они боятся-с?.. Ничего: мышка зверь божий... Как же-с... И она тоже...»

Несколько мгновений и слуга, и барин были заняты созерцанием пленницы; наконец почтенный слуга принял в руки ловушку.

– «Мышка...» – повторил довольным голосом Николай Аполлонович и с улыбкою возвратился к ожидавшему гостю. Николай Аполлонович с особою нежностью относился к мышам.

.....

Николай Аполлонович понес наконец узелок в свою рабочую комнату: как-то мельком его поразил лишь тяжелый вес узелка; но над этим он не задумался; проходя в кабинет, он споткнулся об арабский пестрый ковер, зацепившись ногою о мягкую складку; в узелке тогда что-то звякнуло металлическим звуком, незнакомец с черными усиками при этом звяканье привскочил; рука незнакомца за спиной Николай Аполлоновича описала ту самую зигзагообразную линию, которой недавно так испугался сенатор.

Но ничего не случилось: незнакомец увидел лишь, что в соседней комнате на массивном кресле было пышно разложено красное домино и атласная черная масочка; незнакомец удивленно уставился на эту черную масочку (она его поразила, признаться), пока Николай Аполлонович раскрывал свой письменный стол и, опроставши достаточно места, бережно туда клал узелочек; незнакомец с черными усиками, продолжая рассматривать домино, между тем оживленно принялся высказывать одну свою основательно выношенную мысль:

– «Знаете... Одиночество убивает меня. Я совсем разучился за эти месяцы разговаривать. Не замечаете ли вы, Николай Аполлонович, что слова мои путаются».

Николай Аполлонович, подставляя гостю свою бухарскую спину, лишь рассеянно процедил:

– «Ну это, знаете, бывает со всеми».

Николай Аполлонович в это время бережно прикрывал узелочек кабинетных размеров портретом, изображавшим брюнеточку; покрывая *брюнеточкой* узелок, Николай Аполлонович призадумался, не отрывая глаз от портрета; и лягушечье выражение на мгновение прошло на его блеклых губах.

В спину же ему раздавались слова незнакомца.

– «Я путаюсь в каждой фразе. Я хочу сказать одно слово, и вместо него говорю вовсе не то: хожу все вокруг да около... Или я вдруг забываю, как называется, ну, самый обыденный предмет; и, вспомнив, сомневаюсь, так ли это еще. Затвержу: лампа, лампа и лампа; а потом вдруг покажется, что такого слова и нет: лампа. А спросить подчас некого; а если бы кто и был, то всякого спросить – стыдно, знаете ли: за сумасшедшего примут».

– «Да что вы...»

Кстати об узелке: если бы Николай Аполлонович повнимательнее бы отнесся к словам своего посетителя быть бережнее с узелком, то, вероятно, он понял бы, что безобиднейший в его мнении узелок был не так безобиден, но он, повторяю, был занят портретом; занят настолько, что нить слов незнакомца потерялась в его голове. И теперь, поймавши слова, он едва понимал их. В спину же его все еще барабанила трескучая фистула:

– «Трудно жить, Николай Аполлонович, исключенным, как я, в торичеллиевой пустоте...»

– «Торичеллиевой?»– удивился, не поворачивая спины, Николай Аполлонович, ничего не расслышавший.

– «Вот именно – торричеллиевой, и это, заметьте, во имя общественности; общественность, общество – а какое, позвольте спросить, общество я вижу? Общество *некой*, вам неизвестной особы, общество моего домового дворника, Матвея Моржова, да общество серых мокриц: бррр... у меня на чердаке развелись мокрицы... А? как вам это понравится, Николай Аполлонович?»

– «Да, знаете...»

– «Общее дело! Да оно давным-давно для меня превратилось в личное дело, не позволяющее мне видаться с другими: общее дело-то ведь и выключило меня из списка живых».

Незнакомец с черными усиками, по-видимому, совершенно случайно попал на свою любимую тему; и, попав совершенно случайно на свою любимую тему, незнакомец с черными усиками позабыл о цели прихода, позабыл, вероятно, он и свой мокренький узелочек, даже позабыл количество истребляемых папирос, умноживших зловоние; как и все к молчанию насильственно принужденные и от природы болтливые люди, он испытывал иногда невыразимую потребность сообщить кому бы то ни было мысленный свой итог: другу, недругу, дворнику, городовому, ребенку, даже... парикмахерской кукле, выставленной в окне. По ночам иногда незнакомец сам с собой разговаривал. В обстановке роскошной, пестрой приемной эта потребность поговорить вдруг неодолимо проснулась, как своего рода запой после месячного воздержания от водки.

– «Я – без шутки: какая там шутка; в этой шутке ведь я проживаю два с лишком года; это вам позволительно шутить, вам, включенному во всякое общество; а мое общество – общество клопов и мокриц. Я – я. Слышите ли вы меня?»

– «Разумеется слышу».

Николай Аполлонович теперь действительно слушал.

– «Я – я: а мне говорят, будто я – не я, а какие-то „мы“. Но позвольте – почему это? А вот память расстроилась: плохой знак, плохой знак, указывающий на начало какого-то мозгового расстройства», – незнакомец с черными усиками зашагал из угла в угол, – «знаете, одиночество убивает меня. И подчас даже сердиться: общее дело, социальное равенство, а...»

Тут незнакомец вдруг прервал свою речь, потому что Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и, увидев, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом на стол, на атласное красное домино; и, увидев все то, Николай Аполлонович вследствие какой-то уму непостижимой причины густо так покраснел и бросился убирать домино; этим только он способствовал перемене поля внимания в мозгу незнакомца:

– «Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович».

Николай Аполлонович бросился к домино, как будто его он хотел прикрыть пестрым халатом, но опоздал: яркошуршащий шелк незнакомец пощупал рукою:

– «Прекрасный шелк... Верно дорого стоит: вы, вероятно, посещаете, Николай Аполлонович, маскарады...»

Но Николай Аполлонович покраснел еще пуще:

– «Да, так себе...»

Почти вырвал он домино и пошел его упрячивать в шкаф, точно уличенный в преступности; точно пойманный вор, суетливо запрятал он домино; точно пойманный вор, пробежал обратно за масочкой; спрятавши все, он теперь успокоился, тяжело дыша и подозрительно поглядывая на незнакомца; но незнакомец, признаться, уже забыл домино и теперь вернулся к своей излюбленной теме, все время продолжая расхаживать и посаривать пеплом.

– «Ха, ха, ха!» – трещал незнакомец и быстро закуривал на ходу папироску. – «Вас удивляет, как я могу доселе быть деятелем небезызвестных движений, освободительных для одних и весьма стеснительных для других, ну, хотя бы для вашего батюшки? Я и сам удивляюсь; это

все ерунда, что я действую до последней поры по строго выработанной программе: это ведь – слушайте: я действую по своему усмотрению; но что прикажете делать, мое усмотрение всякий раз проводит в их деятельности только новую колею; собственно говоря, не я в партии, во мне партия... Это вас удивляет?»

– «Да, признаться: это меня удивляет; и признаться, я бы вовсе не стал с вами действовать вместе». Николай Аполлонович начинал внимательнейшим образом внимать речам незнакомца, становившимся все округленнее, все звучней.

– «А ведь все-таки вы узелочек-то мой от меня взяли: вот мы, стало быть, действуем заодно».

– «Ну, это в счет не может идти; какое тут действие...»

– «Ну, конечно, конечно», – перебил его незнакомец, – «это я пошутил». И он помолчал, посмотрел ласково на Николая Аполлоновича и сказал на этот раз совершенно открыто:

– «Знаете, я давно хотел видиться с вами: поговорить по душам; я так мало с кем вижусь. Мне хотелось рассказать о себе. Я ведь – неуловимый не только для противников движения, но и для недостаточных доброжелателей оною. Так сказать, квинтэссенция революции, а вот странно: все-то вы знаете про методику социальных явлений, углубляетесь в диаграммы, в статистику, вероятно, знаете в совершенстве и Маркса; а вот я – я ничего не читал; вы не думайте: я начитан, и очень, только я не о том, не о цифрах статистики».

– «Так о чем же вы?.. Нет, позвольте, позвольте: у меня в шкафчике есть коньяк – хотите?»

– «Не прочь...»

Николай Аполлонович полез в маленький шкафчик: скоро перед гостем показался граненый графинчик и две граненые рюмочки.

Николай Аполлонович во время беседы с гостями гостей потчевал коньяком.

Наливая гостю коньяк с величайшей рассеянностью (как и все Аблеуховы, был он рассеян), Николай Аполлонович все думал о том, что сейчас выгодно представлялся ему удобный случай отказаться вовсе от *тогдашнего* предложения; но когда он хотел словесно выразить свою мысль, он сконфузился: он из трусости не хотел пред лицом незнакомца выказать трусость; да и кроме того: он на радостях не хотел бременить себя щекотливейшим разговором, когда можно было отказаться и письменно.

– «Я читаю теперь Конан-Дойля, для отдыха: – трещал незнакомец, – не сердитесь – это шутка, конечно. Впрочем, пусть и не шутка; ведь если признаться, круг моих чтений для вас будет так же все дик: я читаю историю гностицизма, Григория Нисского, Сирианова, Апокалипсис. В этом, знаете, – моя привилегия; как-никак – и полковник движения, с полей деятельности переведенный (за заслуги) и в штаб-квартиру. Да, да, да: я – полковник. За выслугою лет, разумеется; а вот вы, Николай Аполлонович, со своею методикой и умом, вы – унтер: вы, во-первых, унтер потому, что вы теоретик; а насчет теории у генералов-то наших – плоховаты дела; ведь признайтесь-ка – плоховаты; и они – точь-в-точь архиереи, архиереи же из монахов; и молоденький академик, изучивший Гарнака, но прошедший мимо опытной школы, не побывавший у схимника, – для архиерея только досадный церковный придаток; вот и вы со всеми своими теориями – придаток; поверьте, досадный».

– «Да ведь в ваших словах слышу я народовольческий привкус».

– «Ну так что же? С народовольцами сила, не с марксистами же. Но простите, отвлекся я... я о чем? Да, о выслуге лет и о чтении. Так вот: оригинальность умственной моей пищи все от того же чудачества; я такой же революционный фанфарон, как любой фанфарон вояка с Георгием: старому фанфарону, рубашке, все простят».

Незнакомец задумался, налил рюмочку: выпил – налил еще.

– «Да и как же мне не найти своего, личного, самого по себе: я и так уж, кажется, проживаю приватно – в четырех желтых стенах; моя слава растет, общество повторяет мою пар-

тийную кличку, а круг лиц, стоящих со мною в человеческих отношениях, верьте, равен нулю; обо мне впервые узнали в то славное время, когда я засел в сорокапятиградусный мороз...»

– «Вы ведь были сосланы?»

– «Да, в Якутскую область».

Наступило неловкое молчание. Незнакомец с черными усиками из окошка посмотрел на пространство Невы; взвесилась там бледно-серая гнилость: там был край земли и там был конец бесконечностям; там, сквозь серость и гнилость уже что-то шептал ядовитый октябрь, ударяя о стекла слезами и ветром; и дождливые слезы на стеклах догоняли друг друга, чтобы виться в ручьи и чертить крючковатые знаки слов; в трубах слышалась сладкая пискотня ветра, а сеть черных труб, издавека-далека, посылала под небо свой дым. И дым падал хвостами над темно-цветными водами. Незнакомец с черными усиками прикоснулся губами к рюмочке, посмотрел на желтую влагу: его руки дрожали.

Николай Аполлонович, теперь внимательно слушавший, сказал с какою-то... почти злобою:

– «Ну, а толпам-то, Александр Иванович, вы, надеюсь, пока о своих мечтаньях ни слова?...»

– «Разумеется, пока промолчу».

– «Так значит вы лжете; извините, но суть не в словах: вы все-таки лжете и лжете раз навсегда».

Незнакомец посмотрел изумленно и продолжал довольно-таки некстати:

– «Я пока все читаю и думаю: и все это исключительно для себя одного: от того-то я и читаю Григория Нисского».

Наступило молчание. Опрокинув новую рюмку, из-под облака табачного дыма незнакомец выглядел победителем; разумеется, он все время курил. Молчание прервал Николай Аполлонович.

– «Ну, а по возвращении из Якутской области?»

– «Из Якутской области я удачно бежал; меня вывезли в бочке из-под капусты; и теперь я есмь то, что я есмь: деятель из подполья; только не думайте, чтобы я действовал во имя социальных утопий или во имя вашего железнодорожного мышления: категории ваши напоминают мне рельсы, а жизнь ваша – летящий на рельсах вагон: в ту пору я был отчаянным нищееанцем. Мы все нищееанцы: ведь и вы – инженер вашей железнодорожной линии, творец схемы – и вы нищееанец; только вы в этом никогда не признаетесь. Ну так вот: для нас, нищееанцев, агитационно настроенная и волнуемая социальными инстинктами масса (как сказали бы вы) превращается в исполнительный аппарат (тоже ваше инженерное выражение), где люди (даже такие, как вы) – клавиатура, на которой пальцы пьяниста (заметьте: это выражение мое) летают свободно, преодолевая трудность для трудности; и пока какой-нибудь партерный слюняй под концертной эстрадой внимает божественным звукам Бетховена, для артиста да и для Бетховена – суть не в звуках, а в каком-нибудь септаккорде. Ведь вы знаете что такое септаккорд? Таковы-то мы все».

– «То есть спортсмены от революции».

– «Что ж, разве спортсмен не артист? Я спортсмен из чистой любви к искусству: и потому я – артист. Из неоформленной глины общества хорошо лепить в вечность замечательный бюст».

– «Но позвольте, позвольте, – вы впадаете в противоречие: септаккорд, то есть формула, термин, и бюст, то есть нечто живое? Техника – и вдохновение творчеством? Технику я понимаю прекрасно».

Неловкое молчание наступило опять: Николай Аполлонович с раздражением выщипывал конский волос из своего пестротканого ложа; в теоретический спор не считал он нужным вступать; он привык спорить правильно, не метаться от темы к теме.

– «Все на свете построено на контрастах: и моя польза для общества привела меня в унылые ледяные пространства; здесь пока меня поминали, позабыли верно и вовсе, что там я – один, в пустоте: и по мере того, как я уходил в пустоту, возвышаясь над рядовыми, даже над унтерами (незнакомец усмехнулся беззлобно и пощипывал усик), – с меня постепенно свалились все партийные предрассудки, все категории, как сказали бы вы: у меня с Якутской области, знаете ли, одна категория. И знаете ли какая?»

– «Какая?»

– «Категория льда...»

– «То есть как это?»

От дум или от выпитого вина, только лицо Александра Ивановича действительно приняло какое-то странное выражение; разительно изменился он и в цвете, и даже в объеме лица (есть такие лица, что мгновенно меняются); он казался теперь окончательно выпитым.

– «Категория льда – это льды Якутской губернии; их я, знаете ли, ношу в своем сердце, это они меня отделяют от всех; лед ношу я с собою; да, да, да: лед меня отделяет; отделяет, во-первых, как нелегального человека, проживающего по фальшивому паспорту; во-вторых, в этом льду впервые созрело во мне то особое ощущение: будто даже когда я на людях, я закинут в неизмеримость...»

Незнакомец с черными усиками незаметно подкрался к окошку; там, за стеклами, в зеленоватом тумане проходил гренадерский взвод: проходили рослые молодцы и все в серых шинелях. Размахавшись левой рукой, проходили они: проходил ряд за рядом, штыки прочернили в тумане.

Николай Аполлонович ощутил странный холод: ему стало вновь неприятно: обещание его партии еще не было взято обратно; слушая теперь незнакомца, Николай Аполлонович перетрусил: Николай Аполлонович, как и Аполлон Аполлонович, пространств не любил; еще более его ужасали ледяные пространства, явственно так повеявшие на него от слов Александра Ивановича.

Александр же Иванович там, у окна, улыбался...

– «Артикул революции мне не нужен: это вам, теоретикам, публицистам, философам артикул».

Тут он, глядя в окошко, оборвал стремительно свою речь; соскочив с подоконника, он упорно стал глядеть в туманную слякоть; дело было вот в чем: из туманной слякоти подкатила карета; Александр Иванович увидел и то, как распахнулось каретное дверце, и то, как Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выскочил из кареты, бросив мгновенный и испуганный взгляд на зеркальные отблески стекол; быстро он кинулся на подъезд, на ходу расстегнувши черную лайковую перчатку. Александр Иванович, в свою очередь теперь испугавшись чего-то, неожиданно поднес руку к глазам, точно он хотел закрыться от одной назойливой мысли. Сдавленный шепот вырвался у него из груди.

– «Он...»

– «Что такое?»

Николай Аполлонович подошел к окну теперь тоже.

– «Ничего особенного: вон подъехал в карете ваш батюшка».

Стены – снег, а не стены!

Аполлон Аполлонович не любил своей просторной квартиры; мебель там блистала так докучно, так вечно: а когда надевали чехлы, мебель в белых чехлах предстояла взорам снежными холмами; гулко, четко паркеты здесь отдавали поступь сенатора.

Гулко, четко так отдавал поступь сенатора зал, представлявший собой скорее коридор широчайших размеров. С изошедшего белыми гирляндами потолка, из лепного плодового круга опускалась там люстра с стекляшками горного хрусталя, одетая кисейным чехлом; будто сквозная, равномерно люстра раскачивалась и дрожала хрустальной слезой.

А паркет, точно зеркало, разблизтался квадратами.

Стены – снег, а не стены; эти стены всюду были уставлены высоконогими стульями; их высокие белые ножки изошли в золотых желобках; отовсюду меж стульев, обитых палевым плюшем, поднимались столбики белого алебаstra; и со всех белых столбиков высится алебастровый Архимед. Не Архимед – разные Архимеды, ибо их совокупное имя – древнегреческий муж. Холодно просверкало со стен строгое ледяное стекло; но какая-то заботливая рука по стенам развесила круглые рамы; под стеклом выступала бледнотонная живопись; бледнотонная живопись подражала фрескам Помпеи.

Аполлон Аполлонович мимоходом взглянул на помпейские фрески и вспомнил, чья заботливая рука поразвесила их по стенам; заботливая рука принадлежала Анне Петровне: Аполлон Аполлонович брезгливо поджал свои губы и прошел к себе в кабинет; у себя в кабинете Аполлон Аполлонович имел обычай запирается на ключ; безотчетную грусть вызывали пространства комнатной анфилады; все оттуда, казалось, на него побежит кто-то вечно знакомый и странный; Аполлон Аполлонович с большой охотой перебрался бы из своего огромного помещения в помещение более скромное; ведь жила же его подчиненные в более скромных квартирочках; а вот он, Аполлон Аполлонович Аблеухов, должен был отказаться навек от пленительной тесноты: высота поста его к тому вынуждала; так был вынужден Аполлон Аполлонович праздно томиться в холодной квартире на набережной; вспоминал он частенько и былую обительницу этих блещущих комнат: Анну Петровну. Два уже года, как Анна Петровна уехала от него с итальянским артистом.

Особа

С появлением сенатора незнакомец стал нервничать; оборвалась его доселе гладкая речь: вероятно, действовал алкоголь; говоря вообще, здоровье Александра Ивановича внушало серьезное опасение; разговоры его с самим собой и с другими вызывали в нем какое-то грешное состояние духа, отражались мучительно в спинномозговой позвоночной струне; в нем появилась какая-то мрачная гадливость в отношении к его волновавшему разговору; гадливость ту он, далее, переносил на себя; с виду эти невинные разговоры его расслабляли ужасно, но всего неприятнее было то обстоятельство, что чем более он говорил, тем более развивалось в нем желание говорить и еще: до хрипоты, до вяжущего ощущения в горле; он уже остановиться не мог, изнуряя себя все более, более: иногда он договаривался до того, что после ощущал настоящие припадки мании преследования: возникая в словах, они продолжались в снах: временами его необыкновенно зловещие сны учащались: сон следовал за сном; иногда в ночь по три кошмара; в этих снах его обступали все какие-то хари (почему-то чаще всего татары, японцы или вообще восточные человеки); эти хари неизменно носили тот же пакостный отпечаток; пакостными своими глазами все подмигивали ему; но что всего удивительнее, что в это время неизменно ему вспоминалось бессмысленнейшее слово, будто бы каббалистическое, а на самом деле черт знает каковское: *енфранишии*; при помощи этого слова он боролся в снах с обступавшими толпами духов. Далее: появлялось и на яву одно роковое лицо на куске темно-желтых обоев его обиталища; наконец, изредка всякая дрянь начинала мерещиться: и мерещилась она среди белого дня, если подлинно осенью в Петербурге день белый, а не желто-зеленый с мрачно-шафранными отсветами; и тогда Александр Иванович испытывал то же все, что вчера испытал и сенатор, встретив его, Александра Ивановича, взор. Все те роковые явления начинались в нем приступами смертельной тоски, вызванной, по всей вероятности, продолжительным

сидением на месте: и тогда Александр Иванович начинал испуганно выбегать в зелено-желтый туман (вопреки опасности быть выслеженным); бегая по улицам Петербурга, забежал он в трактирчики. Так на сцену являлся и алкоголь. За алкоголем являлось мгновенно и позорное чувство: к ножке, виноват, к чулку ножки одной простодушной курсисточки, совершенно безотносительно ее самой; начинались совершенно невинные с виду шуточки, подхихикивания, усмешки. Все оканчивалось диким и кошмарным сном с *енфранишии*.

Обо всем этом Александр Иванович вспомнил и передернул плечами: будто с приходом сенатора в этот дом все то вновь в его душе поднялось; все какая-то посторонняя мысль не давала ему покоя; иногда, невзначай, подходил он к двери и слушал едва долетавший гул удаленных шагов; вероятно, это расхаживал у себя в кабинете сенатор.

Чтоб оборвать свои мысли, Александр Иванович снова стал изливать эти мысли в тускловатые речи:

– «Вы вот слушаете, Николай Аполлонович, мою болтовню: а между тем и тут: во всех этих моих разговорах, например в утверждении моей личности, опять-таки примешалось недоумование, Я вот вам говорю, спорю с вами – не с вами я спорю, а с собою, лишь с собою. Собеседник ведь для меня ничто равно не значит: я умею говорить со стенами, с тумбами, с совершенными идиотами. Я чужие мысли не слушаю: то есть слышу я только то, что касается меня, моего. Я борюсь, Николай Аполлонович: одиночество на меня нападает: я часами, днями, неделями сижу у себя на чердаке и курю. Тогда мне начинает казаться, что *все не то*. Знаете ли вы это состояние?»

– «Не могу ясно представить. Слышал, что это бывает от сердца. Вот при виде пространства, когда нет кругом ничего... Это понятнее мне».

– «Ну, а я – нет: так вот, сидишь себе и говоришь, почему я – я: и кажется, что не я... И знаете, столик это стоит себе передо мною. И черт его знает, что он такое; и столик – не столик. И вот говоришь себе: черт знает что со мной сделала жизнь. И хочется, чтобы я – стало я... А тут м ы... Я вообще презираю все слова на „е р ы“, в самом звуке „ы“ сидит какая-то татарщина, монгольство, что ли, восток. Вы послушайте: ы. Ни один культурный язык „ы“ не знает: что-то тупое, циничное, склизкое».

Тут незнакомец с черными усиками вспомнил лицо одной его раздражавшей особы; и оно напомнило ему букву «еры».

Николай Аполлонович, как нарочно, вступил с Александром Ивановичем в разговор.

– «Вы вот все о величии личности: а скажите, разве над вами контроля нет; сами-то вы не связаны?»

– «Вы, Николай Аполлонович, о *некой особе*?»

– «Я ни о ком ровно: я так...»

– «Да – вы правы: *некая особа* появилась вскоре после моего бегства из льдов: появилась она в Гельсингфорсе».

– «Это, что же особа-то – инстанция вашей партии?»

– «Высшая: это вот вокруг нее-то и совершается бег событий: может быть, крупнейших событий: вы *особу* – то знаете?»

– «Нет, не знаю».

– «А я знаю».

– «Ну вот видите: давеча вы сказали, что будто вы и не в партии вовсе, а в вас – партия; как же это выходит: стало быть, сами-то вы в *некой особе*».

– «Ах, да она видит центр свой во мне».

– «А бремена?»

Незнакомец вздрогнул.

– «Да, да, да: тысячу раз да; *некая особа* возлагает на меня тягчайшие бремена; бремена меня заключают все в тот же все холод: в холод Якутской губернии».

– «Стало быть», – сострил Николай Аполлонович, – «физическая равнина не столь удаленной губернии превратилась-таки в метафизическую равнину души».

– «Да, душа моя, точно мировое пространство; и оттуда, из мирового пространства, я на все и смотрю».

– «Послушайте, а у вас там...»

– «Мировое пространство», – перебил его Александр Иванович, – «порой меня докучает, отчаянно докучает. Знаете, что я называю пространством?»

И не дожидаясь ответа, Александр Иванович прибавил:

– «Я называю тем пространством мое обиталище на Васильевском Острове: четыре перпендикулярных стены, оклеенных обоями темновато-желтого цвета; когда я засяду в этих стенах, то ко мне никто не приходит: приходит домовый дворник, Матвей Моржов; да еще в пределы те попадает *особа*».

– «Как же вы попали туда?»

– «Да – *особа* ...»

– «Опять особа?»

– «Все она же: здесь-то и обернулась она, так сказать, стражем моего сырого порога; захоти она, и в целях безопасности я могу неделями там безвыходно просидеть; ведь появление мое на улицах всегда представляет опасность».

– «Вот откуда бросаете вы на русскую жизнь тень – тень Неуловимого».

– «Да, из четырех желтых стен».

– «Да послушайте: где же ваша свобода, откуда она», – потешался Николай Аполлонович, словно мстя за давишные слова, – «ваша свобода разве что от двенадцати подряд выкуренных папирос. Слушайте, ведь особа-то вас уловила. Сколько вы платите за помещение?»

– «Двенадцать рублей; нет, позвольте – с полтиною».

– «Здесь-то вы предаетесь созерцанию мировых пространств?»

– «Да, здесь: и здесь все не то – предметы не предметы: здесь-то я пришел к убеждению, что окно – не окно; окно – вырез в необъятность».

– «Вероятно, здесь пришли вы к мысли о том, что верхи движения ведают то, что низам недоступно, ибо верх», – продолжал свои издевательства Николай Аполлонович, – «что есть верх?»

Но Александр Иванович ответил спокойно:

– «Верх движения – мировая, бездонная пустота».

– «Для чего же все прочее?»

Александр Иванович одушевился.

– «Да во имя болезни...»

– «Как болезни?»

– «Да той самой болезни, которая так изводит меня: странное имя болезни той мне еще пока неизвестно, а вот признаки знаю отлично: безотчетность тоски, галлюцинации, страхи, водка, курение; от водки – частая и тупая боль в голове; наконец, особое спинномозговое чувство: оно мучает по утрам. А вы думаете, это я один болен? Как бы не так: и вы, Николай Аполлонович, – и вы – больны тоже. Больны – почти все. Ах, оставьте, пожалуйста; знаю, знаю все наперед, что вы скажете, и вот все-таки: ха-ха-ха! – почти все идейные сотрудники партии – и они больны тою же болезнью; ее черты во мне разве что рельефнее подчеркнулись. Знаете: я еще в стародавние годы при встречах с партийным товарищем любил, знаете ли, его изучать; вот бывало – многочасовое собрание, дела, дым, разговоры и все о таком благородном, возвышенном, и товарищ мой кипятится, а потом, знаете ли, этот товарищ позовет в ресторан».

– «Ну так что же из этого?»

– «Ну, само собою разумеется, водка; и прочее; рюмка за рюмкой; а я уж смотрю; если после выпитой рюмки у губ этого собеседника появилась вот эдакая усмешечка (какая, этого,

Николай Аполлонович, я вам сказать не сумею), так я уж и знаю: на моего идейного собеседника положиться нельзя; ни словам его верить нельзя, ни действиям: этот мой собеседник болен безволием, неврастением; и ничто, верьте, не гарантирует его от размягчения мозга: такой собеседник способен не только в трудное время не выполнить обещания (Николай Аполлонович вздрогнул); он способен просто-напросто и украсть, предать, и изнасиловать девочку. И присутствие его в партии – провокация, провокация, ужасная провокация. С той поры и открылось мне все значение, знаете ли, вон эдаких складочек около губ, слабостей, смешочков, ужимочек; и куда я ни обращаю глаза, всюду, всюду меня встречает одно сплошное мозговое расстройство, одна общая, тайная, неуловимо развитая провокация, вот *такой вот* под общим делом смешочек – какой, этого я вам, Николай Аполлонович, точно, пожалуй, и не выскажу вовсе. Только я его умею угадывать безошибочно; угадал его и у вас».

– «А у вас его нет?»

– «Есть и у меня: я давно перестал доверять всякому общему делу».

– «Так вы, стало быть, провокатор. Вы не обижайтесь: я говорю о чисто идейной провокации».

– «Я. Да, да, да. Я – провокатор. Но все мое провокаторство во имя одной великой, куда-то тайно влекущей идеи, и опять-таки не идеи, а – веяния».

– «Какое же веяние?»

– «Если уж говорить о веянии, то его определить при помощи слов не могу: я могу назвать его общею жаждою смерти; и я им упиваюсь с восторгом, с блаженством, с ужасом».

– «К тому времени, как вы стали, по вашим словам, упиваться веянием смерти, у вас, верно, и появилась та складочка».

– «И появилась».

– «И вы стали покуривать, попивать».

– «Да, да, да: появились еще особые любово-страстные чувства: знаете, ни в кого из женщин я не был влюблен: был влюблен – как бы это сказать: в отдельные части женского тела, в туалетные принадлежности, в чулки, например. А мужчины в меня влюблялись».

– «Ну, а *некая особа* появилась в то именно время?»

– «Как я ее ненавижу. Ведь вы знаете – да, наверное, знаете не по воле своей, а по воле вверх меня возносившей судьбы – судьбы Неуловимого – личность моя, Александра Ивановича, превратилась в придаток собственной тени. Тень Неуловимого – знают; меня – Александра Ивановича Дудкина, знать не знает никто; и не хочет знать. А ведь голодал, холодал и вообще испытывал что-либо не Неуловимый, а Дудкин. Александр Иванович Дудкин, например, отличался чрезмерной чувствительностью; Неуловимый же был и холоден, и жесток. Александр Иванович Дудкин отличался от природы ярко выраженной общительностью и был не прочь пожить в свое полное удовольствие. Неуловимый же должен быть аскетически молчаливым. Словом, неуловимая дудкинская тень совершает и ныне победоносное свое шествие: в мозгах молодежи, конечно; сам же я стал под влиянием *особы* – посмотрите вы только, на что я похож?»

– «Да, знаете...»

И оба опять замолчали.

– «Наконец-то, Николай Аполлонович, ко мне и подкралось еще одно странное нервное недомогание: под влиянием этого недомогания я пришел к неожиданным заключениям: я, Николай Аполлонович, понял вполне, что из холода своих *мировых пространств* вспылал я затаенною ненавистью не к правительству вовсе, а к – *некой особе*; ведь эта особа, превратив меня, Дудкина, в дудкинскую тень, изгнала меня из мира трехмерного, распластав, так сказать, на стене моего чердака (любимая моя поза во время бессонницы, знаете, встать у стены да и распластаться, раскинуть по обе стороны руки). И вот в распластанном положении у стены (я так простаиваю, Николай Аполлонович, часами) пришел однажды к второму своему заключе-

нию; заключение это как-то странно связалось – как-то странно связалось с одним явлением понятным, если принять во внимание мою развивающуюся болезнь».

О явлении Александр Иванович счел уместным молчать.

Явление заключалось в странной галлюцинации: на коричневато-желтых обоях его обиталища от времени до времени появлялось призрачное лицо; черты этого лица по временам слагались в семита; чаще же проступали в лице том монгольские черточки: все же лицо было повито неприятным, желто-шафранным отсветом. То семит, то монгол вперяли в Александра Ивановича взор, полный ненависти. Александр Иванович тогда зажигал папироску; а семит или монгол сквозь синеватые клубы табачного дыма шевелил желтыми губами своими, и в Александре Ивановиче будто отдавалось все одно и то же слово:

«Гельсингфорс, Гельсингфорс».

В Гельсингфорсе был Александр Иванович после бегства своего из мест не столь отдаленных: с Гельсингфорсом у него не было никаких особенных связей: там он встретился лишь с *некой особой*.

Так почему же именно Гельсингфорс?

Александр Иванович продолжал пить коньяк. Алкоголь действовал с планомерною постепенностью; вслед за водкою (вино было ему не по средствам) следовал единообразный эффект: волнообразная линия мыслей становилась зигзагообразной; перекрещивались ее зигзаги; если бы пить далее, распадалась бы линия мыслей в ряд отрывочных арабесков, гениальных для мыслящих его; но и только для одного его гениальных в один этот момент; стоило ему слегка отрезветь, как соль гениальности пропадала куда-то; и гениальные мысли казались просто сумбуром, ибо мысль в те минуты несомненно опережала и язык, и мозг, начиная вращаться с бешеной быстротою.

Волнение Александра Ивановича передалось Аблеухову: синеватые табачные струи и двенадцать смятых окурков положительно раздражали его; точно кто-то невидимый, третий, встал вдруг между ними, вознесенный из дыма и вот этой кучечки пепла; этот третий, возникнув, господствовал теперь надо всем.

– «Погодите: может, я выйду с вами; у меня что-то трещит голова: наконец, там, на воздухе, можем мы беспрепятственно продолжать разговор наш. Подождите. Я только переоденусь».

– «Вот отличная мысль».

Резкий стук, раздавшийся в дверь, оборвал разговор: прежде чем Николай Аполлонович вознамерился осведомиться о том, кто это там постучался, как рассеянный, полупьяный Александр Иванович распахнул быстро дверь; из отверстия двери на незнакомца просунулся, будто кинулся, голый череп с увеличенных размеров ушами; череп и голова Александра Ивановича едва не стукнулись лбами; Александр Иванович недоумевающе отлетел и взглянул на Николая Аполлоновича, и, взглянув на него, увидел всего лишь... парикмахерскую куклу: бледного, воскового красавца с неприятной, робкой улыбкою на растянутых до ушей устах.

И опять бросил взгляд он на дверь, а в распахнутой двери стоял Аполлон Аполлонович с... преогромным арбузом под мышкою...

– «Так-с, так-с...»

– «Я, кажется, помешал...»

– «Я, Коленька, знаешь ли, нес тебе этот арбузик – вот...»

По традиции дома в это осеннее время Аполлон Аполлонович, возвращаясь домой, покупал иногда астраханский арбуз, до которого и он, и Николай Аполлонович – оба были охотники.

Мгновение помолчали все трое; каждый из них в то мгновение испытывал откровеннейший, чисто животный страх.

– «Вот, папаша, мой университетский товарищ... Александр Иванович Дудкин...»

– «Так-с... Очень приятно-с».

Аполлон Аполлонович подал два своих пальца: *те глаза* не глядели ужасно; подлинно – то ли лицо на него поглядело на улице: Аполлон Аполлонович увидал пред собой только робкого человека, очевидно пришибленного нуждой.

Александр Иванович с жаром ухватился за пальцы сенатора; *то, роковое* отлетело куда-то: Александр Иванович пред собой увидал только жалкого старика. Николай Аполлонович на обоих глядел с той неприятной улыбкой; но и он успокоился; робеющий молодой человек подал руку усталому остову.

Но сердца троих бились; но глаза троих избегали друг друга. Николай Аполлонович убежал одеваться; он думал теперь – все о том, об одном: как *она* вчера там бродила под окнами: значит, она тосковала; но сегодня ее ожидает – что ожидает?..

Мысль его прервалась: из шкафа Николай Аполлонович вытащил свое *домино* и надел его поверх сюртука; красные, атласные полы подколол он булавками; уже сверху всего он накинул свою николаевку.

Аполлон Аполлонович, между тем, вступил в разговор с незнакомцем; беспорядок в комнате сына, папиросы, коньяк – все то в душе его оставило неприятный и горький осадок; успокоили лишь ответы Александра Ивановича: ответы были бессвязны. Александр Иваныч краснел и отвечал невпопад. Пред собой видел он только добреющие морщинки; из добреющих тех морщинок поглядывали глаза: глаза затравленного: а рокочущий голос с надрывом что-то такое выкрикивал; Александр Иваныч прислушался лишь к последним словам; и поймал всего-навсего ряд отрывистых восклицаний...

– «Знаете ли... еще гимназистом, Коленька знал всех птиц... Почитывал Кайгородова...»

– «Был любознателен...»

– «А теперь, вот не то: все он забросил...»

– «И не ходит в университет...»

Так отрывисто покрикивал на Александра Ивановича старик шестидесяти восьми лет; что-то, похожее на участие, шевельнулось в сердце Неуловимого...

В комнату вошел теперь Николай Аполлонович.

– «Ты куда?»

– «Я, папаша, по делу...»

– «Вы... так сказать... с Александром... с Александром...»

– «С Александром Ивановичем...»

– «Так-с... С Александром Иванычем, значит...»

Про себя же Аполлон Аполлонович думал: «Что ж, быть может, и к лучшему: а *глаза*, быть может, – померещились только...» И еще Аполлон Аполлонович при этом подумал, что нужда – не порок. Только вот зачем коньяк они пили (Аполлон Аполлонович питал отвращение к алкоголю).

– «Да: мы по делу...»

Аполлон Аполлонович стал подыскивать подходящее слово:

– «Может быть... пообедали бы... И Александр Иванович отобедал бы с нами...»

Аполлон Аполлонович посмотрел на часы:

– «А впрочем... я стеснять не хочу...»

.....

– «До свиданья, папаша...»

– «Мое почтение-с...»

.....

Когда они отворили дверь и пошли по гулкому коридору, то маленький Аполлон Аполлонович показался там вслед за ними – в полусумерках коридора.

Так, пока они проходили в полусумерках коридора, там стоял Аполлон Аполлонович; он, вытянув шею вслед той паре, глядел с любопытством.

Все-таки, все-таки... Вчера глаза посмотрели: в них была и ненависть, и испуг; и глаза эти были: принадлежали *ему, разночинцу*. И зигзаг был – пренебрежительный или этого не было – не было никогда?

– «Александр Иванович Дудкин... Студент университета».

Аполлон Аполлонович им зашептал вслед.

.....

В пышной передней Николай Аполлонович остановился перед старым лакеем, ловя какую-то свою убежавшую мысль.

– «Даа-аа... аа...»

– «Слушаю-с!»

– «А-а... Мышка!»

Николай Аполлонович продолжал беспомощно растирать себе лоб, вспоминая, что должен он выразить при помощи словесного символа «мышка»: с ним это часто бывало, в особенности после чтения пресерьезных трактатов, состоящих сплошь из набора невообразимых слов: всякая вещь, даже более того, – всякое название вещи после чтения этих трактатов казалось немислимо, и наоборот: все мыслимое оказывалось совершенно безвещным, беспредметным. И по этому поводу Николай Аполлонович произнес вторично с обиженным видом.

– «Мышка...»

– «Точно так-с!»

– «Где она? Послушайте, что вы сделали с мышкой?»

– «С давишней-то? повыпускали на набережную...»

– «Так ли?»

– «Помилуйте, барин: как всегда».

Николай Аполлонович отличался необыкновенной нежностью к этим маленьким тварям.

Успокоенные относительно участи мышки, Николай Аполлонович с Александром Ивановичем тронулись в путь.

Впрочем, оба тронулись в путь, потому что обоим и показалось, будто с лестничной балюстрады кто-то смотрит на них и пылливо, и грустно.

Высыпал, высыпал

Высилось одно мрачное здание на одной мрачной улице. Чуть темнело; бледно стали поблескивать фонари, озаряя подъезд; четвертые этажи еще багрянели закатом.

Вот туда-то со всех концов Петербурга пробирались субъекты; их состав был составом двоякого рода; состав вербовался, во-первых, из субъекта рабочего, космоголового – в шапке, завезенной с полей обгащенной кровью Манджурии; во-вторых, тот состав вербовался из так вообще протестанта: протестант в обилье шагал на длинных ногах; он был бледен и хрупок; иногда он питался фитином, иногда питался и сливками; он сегодня шагал с преогромною суковатою палкою; если бы положить на чашку весов моего протестанта, на другую же чашку весов положить его суковатую палку, то это орудие без сомнения протестанта бы перевесило: не совсем было ясно: кто за кем шел; прыгала ль пред протестантом дубина, иль он сам шагал за дубиною; но всего вероятнее, что сама собой поскакала дубина от Невского, Пушкинской, Выборгской Стороны, даже от Измайловской Роты; протестант за ней влекся; и он задыхался, он едва поспевал; и бойкий мальчишка, мчавшийся в час выхода вечернего газетного приложения, – этот бойкий мальчишка протестанта бы опрокинул, если только не был мой протестант протестантом рабочим, а был только так себе – протестующим.

Этот, так себе, протестующий стал неспроста последнее время разгуливать: по Петербургу, Саратову, Царевококшайску Кинешме; он не всякий день разгуливал так... Выйдешь, это, вечером погулять: тих и мирен закат; и так мирно смеется на улице барышня; с барышней мирно посмеивается протестующий мой субъект, – безо всякой дубины: перешучивается, курит; с добродушнейшим видом беседует с дворником, с добродушнейшим видом беседует с городовым Брыкачевым.

– «Что, небось, надоело вам, Брыкачев, тут стоять?»

– «Как же, барин: служба – нелегкое дело».

– «Погодите: скоро это изменится».

– «Дай-то Бог: что хорошего – так-то; супротив слаботного духу, сами знаете, не пой-дешь».

– «То-то вот...»

Ничего себе и субъект; и городской Брыкачев ничего себе тоже: и оба смеются; и пятак летит в кулак Брыкачева.

На другой день снова, это, выйдешь себе погулять – что такое? Тих и мирен закат; то же все в природе довольство; и театры, и цирки все – в действии; городской водопровод в совершенной исправности тоже; и – ан нет: все не то.

Пересекая сквер, улицу, площадь, переминаясь скорбно пред памятником великого человека, добродушный вчерашний субъект зашагал с преогромной дубиной; грозно, немо, торжественно, так сказать, с ударением, выставляет вперед субъект свою ногу в калошах и с подвернутыми штиблетами; грозно, немо, торжественно субъект ударяет дубиной о тротуар; с городовым Брыкачевым ни слова; городской Брыкачев, это, тоже ни слова, а так себе в пространство, с решительностью:

– «Проходите, господа, проходите, не застайвайтесь».

И глядишь: где-нибудь циркулирует пристав Подбрижний.

Так и прыгает глаз моего протестанта: и туда и сюда; не собрались ли в кучку пред памятником великого человека такие же, как он, протестанты? Не собрались ли они на площади перед пересыльной тюрьмой? Но памятник великого человека оцеплен полицией; на площади же – никого нет.

Походит, походит субъект мой, вздохнет с сожалением; и вернется себе на квартиру; и мамаша его поит чаем со сливками. – Так и знай: в тот день в газетах что-нибудь пропечатали: что-нибудь – какую-нибудь: меру – к предотвращению, так сказать: чего бы то ни было; как пропечатывают меру – субъект и забродит.

На другой же день меры нет: нет на улицах и субъекта: и субъект мой доволен, и городской Брыкачев мой доволен; и пристав Подбрижний доволен. Памятник великого человека не оцеплен полицией.

Высыпал ли протестующий мой субъект в этот октябрьский денечек? Высыпал, высыпал! Повысыпали на улицу и косматые манджурские шапки; и субъекты и шапки те растворялись в толпе; но туда и сюда толпа бродила беспцельно; субъекты же и манджурские шапки брели к одному направлению – к мрачному зданию с багрянеющим верхом; и у мрачного от заката багряного здания толпа состояла исключительно из одних лишь субъектов да шапок; замешалась сюда и барышня учебного заведения.

Уж и перли, и перли в подъездные двери – так перли, так перли! И как же иначе? Рабочему человеку некогда заниматься приличием: и стоял дурной дух; давка же началась с угла.

Вдоль угла, близ самой панели, добродушно конфузясь, оттопатывал на месте ногами (было холодно) отрядик городских; околоточный надзиратель же – еще пуще конфузился; серенький сам, в сереньком пальтеце, он покрикивал незаметною тенью, подбирая почтительно пашку и держа вниз глаза: а ему это в спину – словесные замечания, выговор, смехи и даже: непристойная брань – от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги, Иванихи, от про-

ходившего тут и восставшего вместе с прочими первой гильдии его степенства, купца Пузанова (рыбные промыслы и пароходство на Волге). Серенький надзиратель все робче и робче покрикивал:

– «Проходите, господа, проходите!»

Но чем более он тускнел, тем настойчивее фыркали за забором там мохноногие кони: из-за бревенчатых зубьев – нет, нет – поднималась косматая голова; и если б привстать над забором, то можно было видеть, что какие-то только пригнанные из степей и с нагайками в кулаках, и с винтовочным дулом за спиною, отчего-то злели, все злели; нетерпеливо, зло, немо те оборванцы поплясывали на седлах; и косматые лошаденки – те тоже поплясывали.

Это был отряд оренбургских казаков.

Внутри мрачного здания стояла желто-шафранная муть; тут все освещалось свечами; ничего нельзя было видеть, кроме тел, тел и тел: согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и несогнутых вовсе: все обсели, обстали тела те, что можно было и обсесть, и обстать; занимали вверх бегущий амфитеатр сидений; не было видно и кафедры, не было слышно и голоса, завещавшего с кафедры:

– «Ууу-ууу-ууу». Гудело в пространстве и сквозь это «ууу» раздавалось подчас:

– «Революция... Эволюция... Пролетариат... Забастовка...» И потом опять: «Забастовка...» И еще: «Забастовка...»

– «Забастовка...» – выпаливал голос; еще больше гудело: между двух громко сказанных *забастовок* разве-разве выюркивало: «Социал-демократия». И опять уже юркало в басовое, сплошное, густое ууу-уууу...

Очевидно, речь шла о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже была забастовка; что и там-то, и там-то, и там-то забастовка готовилась, потому-то следует бастовать – здесь и здесь: бастовать на этом вот месте; и – ни с места!

Бегство

Александр Иванович возвращался домой по пустым, приневским проспектам; огонь придворной кареты пролетел мимо него; ему открывалась Нева из-под свода Зимней Канавки; там, на выгнутом мостике, он заметил еженощную тень.

Александр Иванович возвращался в свое убогое обиталище, чтоб сидеть в одиночестве промеж коричневых пятен и следить за жизнью мокриц в сыроватых трещинах стенок. Утренний выход его после ночи походил скорее на бегство от ползающих мокриц; многократные наблюдения Александра Ивановича давно привели его к мысли о том, что спокойствие его ночи так прямо зависит от спокойствия проведенного дня: лишь пережитое на улицах, в рестораниках, в чайных за последнее время приносил с собой он домой.

С чем же он возвращался сегодня? Переживания повлачили за ним отлетающим, силовым и не видимым глазу хвостом; Александр Иванович переживания эти переживал в обратном порядке, убегая сознанием в хвост (то есть за спину): в те минуты все казалось ему, что спина его пораскрылась и из этой спины, как из двери, собирается броситься в бездну какое-то тело гиганта; это тело гиганта и было переживанием сегодняшних суток; переживания задымились хвостом.

Александр Иванович думал: стоило ему возвратиться, как происшествия сегодняшних суток заломятся в дверь; их чердачную дверь он все-таки постарается прищемить, отрывая хвост от спины; и хвост вломится все же.

За собой Александр Иванович оставил бриллиантами блещущий мост.

Дальше, за мостом, на фоне ночного Исакия из зеленой мути пред ним та же встала скала: простирая тяжелую и покрытую зеленью руку тот же загадочный Всадник над Невою возносил меднолавровый венок свой; над заснувшим под своей косматою шапкою гренадером недо-

уменно выкинул конь два передних копыта; а внизу, под копытами, медленно прокачалась косматая, гренадерская шапка засыпающего старика. Упадая от шапки, о штык ударилась бляха.

Зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица двоился двусмысленным выраженьем; в бирюзовый врезалась воздух ладонь.

С той чреватой поры, как примчался к невшскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа – Россия.

Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву – два задних.

Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, – хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, – среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то – в денное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыря, понести великого Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран?

Да не будет!..

Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей – будет; великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого *труса*; а родные равнины от *труса* изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич.

Петербург же опустится.

Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, – брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови; будет, будет – Цусима! Будет – новая Калка!..

Куликово Поле, я жду тебя!

Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею родною землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну океанов – в прародимые, в давно забытые хаосы...

Встань, о Солнце!

.....

Бирюзовый прорыв неся по небу; а навстречу ему полетело сквозь тучи пятно горящего фосфора, неожиданно превратившись там в сплошной яркоблистающий месяц; на мгновение все вспыхнуло: воды, трубы, граниты, серебристые желоба, две богини над аркою, крыша четырехэтажного дома; купол Исакия поглядел просветленный; вспыхнули – Всадниково чело, меднолавровый венец; погасли островные огоньки; а двусмысленное судно с середины Невы обернулось простой рыболовной шхуною; с капитанского мостика искрометнее проблестала и светлая точка; может быть, трубочный огонек сизоносого боцмана в шапке голландской, с наушниками, или – светлый фонарик матроса, дежурящего на вахте. Будто легкая сажа, от Медного Всадника отлетела легкая полутень; и космач гренадер вместе с Всадником черней прочертился на плитах.

Судьбы людские Александру Ивановичу на мгновение осветились отчетливо: можно было увидеть, что будет, можно было узнать, чему никогда не бывать: так все стало ясно; казалось, прояснялась судьба; но в судьбу свою он взглянуть побоялся; стоял пред судьбой потрясенный, взволнованный, переживая тоску.

И – месяц врезался в облако...

Снова бешено понеслись облака клочковатые руки; понеслись туманные пряди все каких-то ведьмовских кос; и двусмысленно замаячило среди них пятно горящее фосфора...

Тут раздался – оглушающий, нечеловеческий рев: проблиставши огромным рефлектором невыносимо, мимо понесся, пыхтя керосином, автомобиль – из-под арки к реке. Александр Иванович рассмотрел, как желтые, монгольские рожи прорезали площадь; от неожиданности он упал; перед ним упала его мокрая шапка. За его спиной тогда поднялось, похожее на причитание, шамканье.

– «Господи, Иисусе Христе! Спаси и помилуй ты нас!»

Александр Иванович обернулся и понял, что поблизости с ним зашептался николаевский старик гренадер.

– «Господи, что это?»

– «Автомобиль: именитые японские гости...»

Автомобиля не было и следа.

Призрачный абрис треуголки лакея и шинельное, в ветер протянутое крыло неслось из тумана в туман двумя огнями кареты.

Степка

Под Петербургом от Колпина вьется столбовая дорога: это место – мрачнее места и нет! Подъезжаете утром вы к Петербургу, проснулись вы – смотрите: в окна вагонных мертво; ни единой души, ни единой деревни; будто род человеческий вымер, и сама земля – труп. Вот на поверхности, состоящей из путаницы оледенелых кустов, издали припадает к земле такое черное облако; горизонт там свинцов; мрачные земли уползают под небо...

Многотрубное, многодымное Колпино!

От Колпина к Петербургу и вьется столбовая дорога; вьется серою лентой; битый щебень ее окаймляет и линия телеграфных столбов. Мастеровой пробирался там с узелочком на палочке; на пороховом он работал заводе и за что-то был прогнан; и шел пехтурой к Петербургу; вокруг него ошетились желтый тростник; и мертвели придорожные камни; взлетали, опускались шлахтбаумы, чередовались полосатые версты, телеграфная проволока дребезжала без конца и начала. Мастеровой был сын захудалого лавочника; был он по имени Степка; с месяц всего проработал он на подгородном заводе; и с завода ушел: перед ним присел Петербург. Многоэтажные груды уже присели за фабриками; сами фабрики приседали за трубами – там вон, там, да и – там; в небе не было ни единого облачка, а горизонт из тех мест казался размазанной сажей, раздышалось там сажей полуторамиллионное население.

Там вон, там, да и – там: мазалась ядовитая гарь; и на гари щетинились трубы; здесь труба поднималась высоко; приседала чуть – там; далее – высился ряд истончавшихся труб, становившихся наконец просто так себе – волосинками; вдали десятками можно было считать волосинки; над оконченным отверстием одной ближней трубы, угрожая небу уколом, торчала громоотводная стрелочка.

Все это Степка мой видел; и на все это Степка мой – нуль внимания; посидел на куче битого щебня, сапоги долой; переплел ноги заново, пожевал мякоть ситника. Да и далее: потащился к ядовитому месту, к пятну сажи: к самому Петербургу.

К вечеру того дня отворилась дверь дворницкой: дверь завизжала; и чебутарахнул дверной блок: в середине дворницкой дворник, Матвей Моржов, углублялся в газетное чтение, ну, конечно, «Биржевки»; между тем дебелая дворничиха (у нее болело все ухо), наваливши на стол кучи пухлых подушек, занималась мореньем клопов при помощи русского скипидара; и стоял в дворницкой дух жесткий и терпкий.

В ту минуту, визжа, отворилась дверь дворницкой и чебутарахнул блок; на пороге же двери стоял неуверенно Степка (васильеостровский дворник, Матвей Моржов, был его единственным земляком во всем Петербурге: разумеется Степка – к нему).

К вечеру на столе появилась водочная бутылка; появились соленые огурцы, появился сапожник Бессмертный с гитарой. Отказался Степка от водки: пили дворник Моржов да сапожник Бессмертный.

– «Эвона... Землячок-то, землячок што докладывает», – ухмылялся Моржов.

– «Это все оттого, что нет у них надлежащих понятий», – пожимал плечами сапожник Бессмертный; трогал пальцем струну; раздавалось: бам, бам.

– «А как батько-то целебеевский?»

– «Сказ один: пьянствует».

– «А учительша?»

– «А учительша ничаво: говорят, возьмет себе в мужи горбатого Фрола».

– «Эвона... Земляк-то, земляк што докладывает», – умилился Матвей Моржов; и взяв двумя пальцами огурец, огурец и откусывал.

– «Это все оттого, что нет у них надлежащих понятий», – пожимал плечами сапожник Бессмертный: трогал пальцем струну; раздавалось: бам, бам. И Степка рассказывал; все о том, об одном: как у них на селе завелись мудреные люди, что у тех мудреных людей выходило относительно всего прочего, как они на селе возвещали рождение дитяти, то ись, аслапаждение: аслапаждение всеобщее; да еще выходило: скоро, мол, сбудется; а про то, что он, Степка, и сам бывал на молениях мудренейших этих людей, – ни гу-гу; и еще рассказывал он относительно захожего барина, и всего прочего вместе взятого; какой барин был относительно прочего: на село бежал от барской невесты; и так далее; сам ушел – к мудреным людям, а их мудрости все равно не осилил (хоть барин); слышь, писали о нем, будто скрылся – относительно всего прочего; да еще: в придачу обобрал он купчиху; выходило все вместе: рождению дитяти, аслападению, и прочему – скоро быть. На все то балагурство дворник Моржов до крайности удивлялся, а сапожник Бессмертный, не удивляясь: дул водку.

– «Это все оттого, что нет у них надлежащих понятий – оттого вот и кражи, и барин, и внучка, и освобождение всеобщее; оттого и мудреные люди; никаких понятий не имеют: да и никто не имеет».

Трогал пальцем струну, и – «бам», «бам»!

Степка же на это ни звука: промолчал, что от тех людей и на колпинской фабрике получал он цидули; и прочее, относительно всего: что и как. Пуще всего он про то промолчал, как на колпинской фабрике свел знакомство с кружком, что под самым под Петербурхом имели собрания; и все прочее. Что иные из самых господ еще с прошлого году, если верить тем людям, собрания посещают – до крайности: и – все вместе... Обо всем этом Бессмертному Степка ни слова; но спел песенку:

Тилимбру-тилишок —
Душистый горошек:
Питушок-грибешок
Клевал у окошек.
Д'тимбру-д'тилишка —
Милая Анета,
Ты не трошь питушка:
Вот тебе манета.

Но на эту песню сапожник Бессмертный повел лишь плечами; всей своей пятерней загудел по гитаре он: «Тилимбру, ти-лим-бру: пам-пам-пам-пам». И спел:

Никогда я тебя не увижу,—
Никогда не увижу тебя:
Пузырек нашатырного спирта
В пиджаке припасен у меня.
Пузырек нашатырного спирта
В пересохшее горло волью:
Садрогаясь, паду на панели —
Не увижу голубку мою!

И пятерней по гитаре: тилимбру, тилимбру: пам-пам-пам... На что Степка не остался в долгу: удивил.

Над саблázнам да нáд бидою
Андел стал са златой трубою —
Свете, Свете.
Бессмертный Свете!
Асени нас бессмертный Свете —
Пред Табою мы, ровно дети:
Ты – Еси
На небеси!

Слушал очень зашедший в дворницкую молодой барин, проживающий в чердачном помещении; он расспрашивал Степу про мудренейших людей: как они возвещают представление света; и когда сие сбудется; но еще более он расспрашивал про того захожего барина, про Дарьяльского, – как и все. Барин был из себя тощий: видно хворый; и от времени до времени опоражнивал барин рюмочку, так что Степка ему еще вот назидательные слова говорил:

– «Барин вы хворый; и потому от табаку да от водки скоро вам – капут: сам, грешным делом, пивал: а таперича дал зарок. От табаку да от водки все и пошло; знаю то, и кто спаивает: японец!»

– «А откуда ты знаешь?»

– «Про водку? Перво сам граф Лев Николаевич Толстой – книжечку его „Первый винокур“ изволили читать? – ефто самое говорит; да еще говорят те вон самые люди, под Питер-бурхом».

– «А про японца откуда ты знаешь?»

– «А про японца так водится: про японца все знают... Еще вот изволите помнить, ураган-то, что над Москвою прошел, тоже сказывали – как мол, что мол, души мол, убиенных; с того, значит, света, прошлись над Москвою, без покаяния, значит, и умерли. И еще это значит: быть в Москве бунту».

– «А с Петербургом что будет?»

– «Да что: кумирню какую-то строят китайцы!»

Степку взял тогда барин к себе, на чердак: нехорошее было у барина помещение; ну и жутко барину одному: он и взял к себе Степку; ночевали они там.

Взял он его с собою, пред собой усадил, из чемоданишка вынул оборванную писулю; и писулю Степке прочел: «Ваши политические убеждения мне ясны как на ладони: та же все бесовщина, то же все одержание страшною силой; вы мне не верите, да ведь я то уж знаю: знаю я, что скоро узнаете вы, как узнают многие вскоре... Вырвали и меня из нечистых когтей.

Близится великое время: остается десятилетие до начала конца: вспомните, запишите и передайте потомству; всех годов значительней 1954 год. Это России коснется, ибо в России

колыбель церкви Филадельфийской; церковь эту благословил сам Господь наш Иисус Христос. Вижу теперь, почему Соловьев говорил о культе Софии. Это – помните? в связи с тем, что у Нижегородской сектантки...» И так далее... далее... Степка почмыхивал носом, а барин писулю читал: долго писулю читал.

– «Так оно – во, во, во. А какой ефто барин писал?»

– «Да за границей он, из политических ссыльных».

– «Вот оно што».

.....

– «А что, Степка, будет?»

– «Слышал я: перво-наперво убиения будут, апосля же все-опчее недовольство; апосля же болезни всякие – мор, голод, ну а там, говорят умнейшие люди, всякие там волнения: китаец встанет на себя самого: мухамедане тоже взволнуются очень, только етта не выйдет».

– «Ну а дальше?»

– «Ну все прочее соберется на исходе двенадцатого года; только уж в тринадцатом году... Да что! Одно такое пророчество есть, барин: вонмем-де... на нас-де клинок... во что венец японцу: и потом опять – рождение отрока нового. И еще: у анпиратора прусскава мол... Да что. Вот тебе, барин, пророчество: Ноев Кавчег надобно строить!»

– «А как строить?»

– «Ладно, барин, посмотрим: вы етта мне, я етта вам – шепчемся».

– «Да о чем же мы шепчемся?»

– «Все о том, об одном: о втором Христовом пришествии».

– «Довольно: все это вздор...»

.....

– «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Конец второй главы

Глава третья, в которой описано, как Николай Аполлонович Аблеухов попадает с своей затеей впросак

*Хоть малый он обыкновенный,
Не второклассный Дон Жуан,
Не демон, даже не цыган,
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем встуду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный.*

А. Пушкин

Праздник

В одном важном месте состоялось появление, до чрезвычайности важное; появление то состоялось, то есть было.

По поводу этого случая в упомянутом месте с чрезвычайно серьезными лицами появились в расшитых мундирах и чрезвычайные люди; так сказать, оказались на месте.

Это был день чрезвычайностей. Он, конечно, был ясен. С самых ранних часов в небе искрилось солнце: и заискрилось все, что могло только искриться: петербургские крыши, петербургские шпицы, петербургские купола.

Где-то там пропалили.

Если б вам удосужилось бросить взгляд на то важное место, вы видели б только лак, только лоск; блеск на окнах зеркальных; ну, конечно, — и блеск за зеркальными окнами; на колоннах — блеск; на паркете — блеск; у подъезда блеск тоже; словом, лак, лоск и блеск!

Потому-то с раннего часа в разнообразных концах столицы Российской империи все чины, от третьего класса и до первого класса включительно, сребровласые старцы с надушенными баками и как лак сиявшими лысынями, энергично надели крахмал, как бы некую рыцарскую броню; и так, в белом, вынимали из шкафчика краснолаковые свои коробки, напоминавшие дамские футляры для бриллиантов; желтый старческий ноготь давил на пружинку, и от этого, шелкая, отлетала крышка красного лака с приятной упругостью, обнаружив изяшно в мягко-бархатном ложе свою ослепительную звезду; в это время такой же седой камердинер вносил в комнату вешалку, на которой можно было увидеть, во-первых: белые ослепительные штаны; во-вторых: мундир черного лоска с раззолоченной грудью; к этим белым штанам наклонялась как лак горевшая лысина, и седой старичок, не кряхтя, поверх пары белых, белых штанов облакался в мундир ярко-черного лоска с раззолоченной грудью, на которую падало ароматно серебро седины; наискось потом обвивался он атласною ярко-красною лентою, если был он аннинский кавалер; если же он был кавалер более высокого ордена, то его искрометную грудь обвивала синяя лента. После этой праздничной церемонии соответственная звезда садилась на грудь золотую, прикреплялась шпага, из особой формы картонки вынималась треуголка с плюмажем, и седой орденский кавалер — сам блеск и трепет — в лакированной черной карете отправлялся туда, где все — блеск и трепет; в чрезвычайно важное место, где уже стояли шеренги чрезвычайно важных особ с чрезвычайно важными лицами. Эта блестящая шеренга, выровненная оберцеремониймейстерским жезлом, составляла центральную ось нашего государственного колеса.

Это был день чрезвычайностей; и он должен был, разумеется, просиять; он – просиял, разумеется.

Уже с самого раннего утра исчезала всякая темнота, и был свет белей электричества, свет дневной; в этом свете заискрилось все, что могло только искриться: петербургские крыши, петербургские шпицы, петербургские купола.

Грянул в полдень пушечный выстрел. В чрезвычайно ясное утро, из-за ослепительно белых простынь, вдруг взлетевших с кровати ослепительной спаленки, выюркнула фигурка – маленькая, во всем белом; фигурка та почему-то напомнила циркового наездника. Стремительная фигурка по обычаю, освященному традицией седой старины, принялась укреплять свое тело шведской гимнастикой, разводя и сводя руки и ноги, и далее, приседая на корточки до двенадцати (и более) раз. После этого полезного упражнения фигурка окропила себе голый череп и руки одеколоном (тройным, петербургской химической лаборатории).

Далее, по омовении черепа, рук, подбородка, ушей, шеи водопроводной свежей водой, по насыщении своего организма чрезвычайно внесенным в комнату кофе, Аполлон Аполлонович Аблеухов, как и прочие сановные старички, в этот день уверенно затянулся в крахмал, пронося в отверстие панциреобразной сорочки два разительных уха и как лак сиявшую лысину. После того, выйдя в туалетную комнату, Аполлон Аполлонович Аблеухов из шкафчика вынул (как и прочие сановные старички) свои красного лака коробочки, где под крышкою, в мягко-бархатном ложе лежали все редкие, ценные ордена. Как и прочим (меньше прочих), был внесен и ему лоск льющий мундирчик с раззолоченною грудью; были внесены и суконные белые панталоны, пара белых перчаток, особой формы картоночка, ножны черные шпаги, над которыми от эфеса свисала серебряная бахрома; под давлением желтого ногтя взлетели все десять красно-лаковых крышечек, и из крышечек были добыты: Белый Орел, соответствующая звезда, синяя лента; наконец, был добыт бриллиантовый знак; все сие село на расшитую грудь. Аполлон Аполлонович стоял перед зеркалом, бело-золотой (весь – блеск и трепет!), левой рукой прижимая шпагу к бедру, а правой – прижимая к груди плюмажную треуголку с парой белых перчаток. В этом трепетном виде Аполлон Аполлонович пробежал коридор.

Но в гостиной сенатор почему-то сконфуженно задержался; чрезвычайная бледность лица и растрепанный, вид его сына поразили, видно, сенатора.

Николай Аполлонович в этот день поднялся раньше, чем следует; кстати сказать, Николай Аполлонович и вовсе не спал эту ночь: поздно вечером подлетел лихач к подъезду желтого дома; Николай Аполлонович, растерянный, выскочил из пролетки и принялся звонить что есть сил; а когда ему отворил серый лакей с золотым галуном, то Николай Аполлонович, не снимая шинели, как-то путаясь в ее полах, пробежал по лестнице, далее – пробежал и ряд пустых комнат; и за ним защелкнулась дверь. Скоро у желтого дома заходили какие-то тени. Николай Аполлонович все шагал у себя; в два часа ночи в комнате Николая Аполлоновича еще раздавались шаги, раздавались шаги – в половине третьего, в три, четыре.

Неумытый и заспанный, Николай Аполлонович угрюмо сидел у камина в своем пестром халате. Аполлон Аполлонович, лучезарность и трепет, невольно остановился, отражаясь блеском в паркетах и зеркалах; он стоял на фоне трюмо, окруженный семьей толстощеких амулов, продававших свои пламена в золотые венки; и рука Аполлона Аполлоновича пробарабанила что-то на инкрустации столика. Николай Аполлонович, вдруг очнувшись, вскочил, обернулся и невольно зажмурился: и его ослепил бело-золотой старичок.

Бело-золотой старичок приходился папашею; но прилива родственных чувств Николай Аполлонович в эту минуту не испытывал вовсе; он испытывал нечто совершенно обратное, может быть, то, что испытывал он у себя в кабинете; у себя в кабинете Николай Аполлонович совершал над собой террористические акты, – номер первый над номером вторым: социалист над дворянчиком; и мертвец над влюбленным; у себя Николай Аполлонович проклинал свое брренное существо и, поскольку он был образом и подобием отца, он проклинал отца. Было ясно,

что богоподобие его должно было отца ненавидеть; но, быть может, брренное существо его все же любило отца? В этом Николай Аполлонович вряд ли себе признался. Любить?.. Я не знаю, подходит ли здесь это слово. Николай Аполлонович отца своего как бы чувственно знал, знал до мельчайших изгибов, до невнятных дрожаний невыразимейших чувств; более того: он был чувственно абсолютно равен отцу; более всего удивляло его то обстоятельство, что психически он не знал, где кончается он и где психически начинается в нем самом дух сенатора, носителя тех вон искристых бриллиантовых знаков, что сверкали на блещущих листьях расшитой груди. Во мгновение ока он не то что представил, а скорей пережил себя самого в этом пышном мундире; что бы он испытал, созерцая такого вот, как он, небритого разгильдяя в пестром бухарском халате; это ему показалось бы нарушением хорошего тона. Николай Аполлонович понял, что почувствовал бы брезгливость, что по-своему был бы прав родитель его, ощущая брезгливость, что брезгливость ту ощущает родитель вот сейчас – здесь. Понял и то, что смесь озлобления и стыда заставила его быстро так привскочить перед белозолотым старичком:

– «Доброе утро, папаша!»

Но сенатор, продолжаясь чувственно в сыне, может быть, инстинктивно испытывая нечто не совсем чуждое и ему (как бы голос когда-то бывших и в нем сомнений – в дни его профессуры), в свою очередь представил себя самого в сознательном неглиже, созерцающим карьериста-высочку сына, во всем бело-золотом – перед неглиже родителя, – испуганно заморгал глазами и с какой-то наивностью, утрированной донельзя, весело и особенно фамиллярно ответил:

– «Мое почтение-с!»

Вероятно, носитель бриллиантовых знаков вовсе не знал подлинного своего окончания, продолжаясь в психике сына. У обоих логика была окончательно развита в ущерб психике. Психика их представлялась им хаосом, из которого все-то лишь рождались одни сюрпризы; но когда оба соприкасались друг с другом психически, то являли собой подобие двух друг к другу повернутых мрачных отдушин в совершенную бездну; и от бездны к бездне пробегал неприятнейший сквознячок; сквознячок этот оба тут ощутили, стоя друг перед другом; и мысли обоих смешались, так что сын мог, наверное бы, продолжать мысль отца. Потупились оба.

Менее всего могла походить на любовь неизъяснимая близость; сознание Николая Аполлоновича, по крайней мере, такой любви не знавало. Незыяснимую близость Николай Аполлонович ощущал как позорный физиологический акт; в ту минуту мог бы он отнестись к выделению всяческой родственности, как к естественному выделению организма: выделения эти ни не любят, ни любят: ими – брезгают.

На лице его появилось бессильное лягушечье выражение.

– «Вы сегодня в параде?»

Пальцы всунулись в пальцы; и пальцы отдернулись. Аполлон Аполлонович, видно, хотел что-то выразить, вероятно, дать словесное объяснение о причинах его появления в этой форме; и еще он хотел задать один вопрос о причине неестественной бледности сына, или хотя бы осведомиться, почему появился сын в столь несвойственный час. Но слова его как-то в горле застряли, и Аполлон Аполлонович только раскашлялся. В ту минуту появился лакей и сказал, что карета подана. Аполлон Аполлонович, чему-то обрадовавшись, благодарно кивнул лакею и стал торопиться.

– «Так-с, так-с: очень хорошо-с!»

Аполлон Аполлонович, блеск и трепет, пролетел мимо сына; скоро перестал стучать его шаг.

Николай Аполлонович посмотрел вслед родителю: на лице его опять появилась улыбка; бездна отвернулась от бездны; перестал дуть сквозняк.

Николай Аполлонович Аблеухов вспомнил последний ответственный циркуляр Аполлона Аполлоновича Аблеухова, составлявший полное несоответствие с планами Николая

Аполлоновича; и Николай Аполлонович пришел к решительному заключению, что родитель его, Аполлон Аполлонович, просто-напросто – отъявленный негодяй...

Скоро маленький старичок поднимался по трепетной лестнице, сплошь уложенной ярко-красным сукном; на ярко-красном сукне, сгибаясь, маленькие ноги с неестественной быстротой стали строить углы, отчего успокоился быстро и дух Аполлона Аполлоновича: он во всем любил симметрию.

Скоро к нему подошли многие, как и он, старички: баки, борода, лысины, усы, подбородки, златогрудые и украшенные орденами, управляющие движением нашего государственного колеса; и там, у лестничной балюстрады, стояла златогрудая кучечка, обсуждавшая рокошующим басом роковое вращение колеса по колдобинам, пока обер-церемониймейстер, проходивший с жезлом, не предложил им всем выровняться по линии.

Тотчас же после чрезвычайного прохождения, обхода и милостиво произнесенных слов, старички снова сбились – в зале, в вестибюле, у колонн балюстрады. Почему-то отметился вдруг один искристый рой, из центра которого раздавался неугомонный, но сдержанный говор; забасил оттуда, из центра, будто бархатный, огромных размеров шмель; он был ниже всех ростом, и когда обстали его златогрудые старички, то его и вовсе не было видно. А когда богатырского роста граф Дубльве с синей лентой через плечо, проводя рукою по сединам, с мягкой какой-то развязностью, подошел к старческой кучечке и прищурил глаза, он увидел, что этим гудящим центром оказался Аполлон Аполлонович. Тотчас же Аполлон Аполлонович оборвал свою речь, и с не слишком яркой сердечностью, но с сердечностью все же, протянул свою руку к той роковой руке, которая подписала только что условия одного чрезвычайного договора: договор же был подписан в... Америке. Граф Дубльве как-то мягко нагнулся к бывшему ему по плечу голому черепу, и шипящая острота поползла проворно в ухо бледно-зеленых отливов; острота эта, впрочем, улыбки не вызвала; не улыбались на шутку и златогрудые, обставившие старички; и сама собою растаяла кучечка. С богатырского вида сановником Аполлон Аполлонович и спускался по лестнице; пред Аполлоном Аполлоновичем граф Дубльве шел в изогнутом положении; выше их опускались искрометные старички, ниже их – горбоносый посол одного далекого государства, старичок красногубый, восточный; между ними – маленький, бело-золотой и, как палка, прямой опускался Аполлон Аполлонович на огненном фоне сукна, покрывавшего лестницу.

.....

В этот час на широком Марсовом поле был большой плацпарад; там стояло каре императорской гвардии.

Издали, сквозь толпу, за стальной щетиной штыков преображенцев, семеновцев, измайловцев, гренадер можно было увидеть ряды белоконых отрядов; казалось – золотое, сплошное, лучи отдающее зеркало медленно тронулось к пункту от пункта; затрепались в воздухе пестрые эскадронные знаки; мелодично и плакали, и зывали оттуда серебряные оркестры; можно было увидеть там ряд эскадронов – кирасирских, кавалергардских; можно было увидеть далее самый тот эскадрон – кирасирский, кавалергардский, – можно было увидеть галопу всадников эскадронного ряда – кирасиров, кавалергардов, – белокурых, огромных и покрытых броней, в белых, из лайки, гладких, обтянутых панталонах, в золотых и искристых панцирях, в лучезарных касках, увенчанных то серебряным голубем, то двуглавым орлом; гарцевали всадники эскадронного ряда; гарцевали ряды эскадрона. И, увенчанный металлическим голубем, на коне плясал перед ними бледноусый барон Оммергау; и таким же увенчанный голубем гарцевал надменно граф Авен, – кирасиры, кавалергарды! И из пыли кровавою тучей, опустив вниз султаны, на седых своих скакунах пронесли галопом гусары; заалели их ментики, забелели в ветре за ними меховые накидки; загудела земля, и вверх лязгнули сабли: и над гулом, над пылью, потекла вдруг струя яркого серебра. Как-то вбок пролетело гусарское красное облако, и очистился плац. И опять, там, в пространстве, возникли теперь уж лазурные всадники, отда-

вая и далям, и солнцу серебро своих лат: то, должно быть, был дивизион гвардейских жандармов; издали на толпу он пожаловался трубой; но его затянуло от взоров бурю пылью; трещал барабан; прошли пехотинцы.

На митинг

После мозглой первооктябрьской слякоти петербургские крыши, петербургские шпицы, наконец, петербургские купола ослепительно закупались однажды в октябревском морозном солнышке.

Ангел Пери в этот день оставался один; мужа не было: он заведовал – где-то там – провиантами; непричесанный ангел порхал в своем розовом *кимоно* между вазами хризантем и горой Фузи-Яма; полами хлопало, как атласными крыльями, *кимоно*, а владелец того *кимоно* упомянутый ангел, под гипнозом все той же идеи покусывал то платочек, а то кончик черной косы. Николай Аполлонович оставался, конечно, подлец подлецом, но и газетный сотрудник Нейнтельпфайн – вот тоже! – скотина. Чувства ангела растрепались до крайности.

Чтобы сколько-нибудь привести в порядок растрепанность чувств, ангел Пери с ногами забрался на стеганую козетку и раскрыл свою книжечку: *Анри Безансон «Человек и его тела»*. Эту книжечку ангел уже раскрывал многократно, но... и но: книжечка выпадала из рук, глазки ангела Пери смыкались стремительно, в крохотном носике пробуждалась бурная жизнь: он посвистывал и посапывал.

Нет, сегодня она не заснет: баронесса R. R. уж однажды справлялась о книжечке; и узнав, что книжечка прочтена, как-то лукаво спросила: «Что вы скажете мне, *ma chère*?» Но «*ma chère*» ничего не сказала; и баронесса R. R. пригрозила ей пальчиком: ведь недаром же надпись на книжечке начиналась словами: «Мой деваханический друг», и кончалась надпись та подписью: «Баронесса R. R. – брeнная скорлупа, но с будхической искоркой».

Но – позвольте, позвольте: что такое «деваханический друг», «скорлупа», «будхическая искорка»? Это вот разъяснит Анри Безансон. И Софья Петровна на этот раз в Анри Безансон углубится; но едва она просунула носик в Анри Безансон, явственно ощущая в страницах запах самой баронессы (баронесса душилась опопонаксом), как раздался звонок и влетела бурей курсистка, Варвара Евграфовна: драгоценную книжечку не успел ангел Пери как следует спрятать; и был пойман ангел с поличным.

– «Что такое?» – строго крикнула Варвара Евграфовна, приложила к носу пенсне и нагнулась над книжечкой...

– «Что такое это у вас? Кто вам дал?»

– «Баронесса R. R. ...»

– «Ну, конечно... А что такое?»

– «Анри Безансон...»

– «Вы хотите сказать Анни Безант... Человек и его тела?... Что за чушь?... А прочли ли вы «*Манифест*» Карла Маркса?»

Синие глазки испуганно замигали, а пунцовые губки надулись обиженно.

– «Буржуазия, чувствуя свой конец, ухватилась за мистику: предоставим небо воробьям и из царства необходимости сложим царство свободы».

И Варвара Евграфовна победоносно окинула ангела непререкаемым взглядом чрез пенсне: и беспомощней заморгали глазки ангела Пери; этот ангел уважал одинаково и Варвару Евграфовну, и баронессу R. R. А сейчас приходилось выбирать между ними. Но Варвара Евграфовна, к счастью, не поднимала истории; положив ногу на ногу, она протерла пенсне.

– «Дело вот в чем... Вы, конечно, будете на балу у Цукатовых...»

– «Буду», – виновато так отвечивал ангел.

– «Дело вот в чем: на этом балу, по достигшим до меня слухам, будет и наш общий знакомец: Аблеухов».

Ангел вспыхнул.

– «Ну, так вот: ему-то вы и передайте вот это письмо». – Варвара Евграфовна сунула письмо в руки ангелу.

– «Передайте; и все тут: так передадите?»

– «Пе... передам...»

– «Ну так так, а мне нечего тут у вас прохладиться: я на митинг...»

– «Голубка, Варвара Евграфовна, возьмите с собой и меня».

– «А вы не боитесь? Может быть избиение...»

– «Нет, возьмите, возьмите – голубушка».

– «Что-ж: пожалуй, пойдемте. Только вы будете одеваться; и прочее там: пудриться...

Так уж вы поскорее...»

– «Ах, сейчас: в один миг!..»

.....

– «Господи, поскорее, поскорее... Корсет, Маврушка!.. Черное шерстяное платье – то самое: и ботинки – те, которые. Ах да нет: с высокими каблуками». И шуршали, падая, юбки: полетел на постель через стол розовый *кимоно*... Маврушка путалась: Маврушка опрокинула стул...

– «Нет, не так, а потуже: еще потуже... У вас не руки – обрубки... Где подвязки – а, а? Сколько раз я вам говорила? И закракал костью корсет; а дрожащие руки все никак не могли уложить на затылке ночи черные кос...

Софья Петровна Лихутина с костяною шпилькой в зубах закосила глазами: закосила глазами она на письмо; на письме же четко была сделана надпись: *Николаю Аполлоновичу Аблеухову*.

Что она «его» завтра встретит на балу у Цукатовых, будет с ним говорить, передаст вот письмо, – это было и страшно, и больно: роковое тут что-то – нет не думать, не думать!

Непокорная черная прядь соскочила с затылка.

Да, письмо. На письме же четко стояло: *Николаю Аполлоновичу Аблеухову*. Странно только вот что: этот почерк был почерк Липпанченко... Что за вздор!

Вот она уже в шерстяном черном платье с застежкой на спине пропорхнула из спальни:

– «Ну, идемте, идемте же... Кстати, это письмо... От кого?..»

– «?»

– «Ну, не надо, не надо: готова я».

Для чего так спешила на митинг? Чтоб дорогой выведывать, спрашивать, добиваться?

А что спрашивать?

У подъезда столкнулись они с хохлом-малороссом Липпанченко:

– «Вот так так: вы куда?»

Софья Петровна с досадою замахала и плюшевой ручкой и муфточкой:

– «Я на митинг, на митинг».

Но хитрый хохол не унялся:

– «Прекрасно: и я с вами».

Варвара Евграфовна вспыхнула, остановилась: и уставилась в упор на хохла.

– «Я вас, кажется, знаю: вы снимаете номер... у Манпонши».

Тут бесстыдный хитрый хохол пришел в сильнейшее замешательство: запыхтел вдруг, запяtilся, приподнял свою шапку, отстал.

– «Кто, скажите, этот неприятный субъект?»

– «Липпанченко».

– «Ну и вовсе неправда: не Липпанченко, а грек из Одессы: Маврокордато; он бывает в номере у меня за стеной: не советую вам его принимать».

Но Софья Петровна не слушала. Маврокордато, Липпанченко – все равно... Письмо, вот, письмо...

Благороден, строен, бледен!..

Они проходили по Мойке.

Слева от них трепетали листочками сада последнее золото и последний багрец; и, приблизившись ближе, можно было бы видеть синичку; а из сада покорно тянулась на камни шелестящая нить, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов.

– «Уууу-ууу-ууу...» – так звучало в пространстве.

– «Вы слышите?»

– «Что такое?»

.....

– «Ууу-ууу».

.....

– «Ничего я не слышу...»

А тот звук раздавался негромко в городах, лесах и полях, в пригородных пространствах Москвы, Петербурга, Саратова. Слышал ли ты октябрёвскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было; этой песни не будет...

– «Это, верно, фабричный гудок: где-нибудь на фабриках забастовка».

Но фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес.

Под ногами их справа голубел мойский канал, а за ним над водою возникла красноватая линия набережных камней и венчалась железным, решетчатым кружевом: то же светлое трехэтажное здание александровской эпохи подпиралось пятью каменными колоннами; и мрачнел меж колоннами вход; над вторым этажом проходила та же все полоса орнаментной лепки: круг за кругом – все лепные круги.

Меж каналом и зданием на своих лошадях пролетела шинель, утаив в свой бобер замерзающий кончик надменного носа; и качался ярко-желтый околыш, да розовая подушка шапочки кучерской колыхнулась чуть-чуть. Поравнявшись с Лихутиной, высоко над плешью взлетел ярко-желтый околыш Ее Величества кирасира: это был барон Оммау-Оммергау.

Впереди, где канал загибался, поднимались красные стены церкви, убегая в высокую башенку и в зеленый шпиг; а левее над домовым, каменным выступом, в стеклянеющей бирюзе ослепительный купол Исакия поднимался так строго.

Вот и набережная: глубина, зеленоватая синь. Там далеко, далеко, будто дальше, чем следует, опустились, принизились острова: и принизились здания; вот замост, хлынет на них глубина, зеленоватая синь. И над этою зеленоватою синью немилосердный закат и туда и сюда посылал свой багрово-светлый удар: и багрился Троицкий Мост; и Дворец тоже багрился.

Вдруг под этою глубиной и зеленоватою синью на багровом фоне зари показался отчетливый силуэт: в ветре крыльями билась серая николаевка; и небрежно откинулось восковое лицо, оттопыривши губы: в синеватых неведомых просторах все глаза его что-то искали, найти не могли, улетели мимо над скромною ее шапочкой; не увидели шапочки: не увидели ничего – ни ее, ни Варвары Евграфовны: только видели глубину, зеленоватую синь; поднялись и упали – там упали глаза, за Невой, где принизились берега и багрились островные здания. Впереди же, сопя, пробежал полосатый, темный бульдог, унося в зубах свой серебряный хлыстик.

Поравнявшись, очнулся он, чуть прищурился, чуть рукой прикоснулся к околышу; ничего не сказал – и туда ушел: там багрились лишь здания.

Софья Петровна с совершенно косыми глазами, спрятав личико в муфточку (она была теперь краснее пиона), беспомощно как-то в сторону помотала головкой: не ему, а бульдогу. А Варвара Евграфовна так-таки и уставилась, засопела, впилась глазами.

– «Аблеухов?»

– «Да... кажется».

И, услышавши утвердительный ответ (сама она была близорука), Варвара Евграфовна про себя взволнованно зашептала:

Благороден, строен, бледен,
Волоса, как лен;
Мыслью – щедр и чувством беден
Н. А. А. – кто ж он?

Вот, вот он:

Революционер известный,
Хоть аристократ,
Но семьи своей бесчестной
Лучше во сто крат.

Вот, он, пересоздатель гнилого строя, которому она (скоро, скоро!) собирается предложить гражданский брак по свершении им ему предназначенной миссии, за которой последует всеобщий, мировой взрыв: тут она захлебнулась (Варвара Евграфовна имела обычай слишком громко заглатывать слюни).

– «Что такое?»

– «Ничего: мне пришел в голову один идейный мотив».

Но Софья Петровна не слушала больше: неожиданно для себя она повернулась и увидела, что там, там, на дворцовом выступе в светло-багровом ударе последних невских лучей, как-то странно повернутый к ней, выгибаясь и уйдя лицом в воротник, отчего скатывалась с него студенческая фуражка, стоял Николай Аполлонович: ей казалось, что он неприятнейшим образом улыбался и во всяком случае представлял собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался и сутулым, и каким-то безруким с пренелепо плясавшим по ветру шинельным крылом; и, увидев все то, головку она повернула стремительно.

Долго еще простоял он, изогнувшись, улыбался неприятнейшим образом и во всяком случае представлял собой довольно смешную фигуру безрукого с так нелепо плясавшим в ветре шинельным крылом на пятне багрового закатного косяка. Но во всяком случае на нее не глядел он: разве можно было с его близорукостью рассмотреть удалявшиеся фигурки; сам с собой он смеялся и глядел далеко-далеко, будто дальше, чем следует, – туда, куда опускались островные здания, где они едва протуманились в багровеющем дыме.

А она – ей хотелось заплакать: ей хотелось, чтоб муж ее, Сергей Сергеич Лихутин, подойдя к этому подлецу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал по этому поводу свое честное, офицерское слово.

Немилосердный закат посылал удар за ударом от самого горизонта; выше шла неизмеримость розовой ряби; еще выше мягко так недавно белые облачка (теперь розовые) будто мелкие вдавлины перебитого перламутра пропадали во всем бирюзовом; это все бирюзовое равномерно лилось меж осколков розовых перламутров: скоро перламутринки, утопая в высь, будто отходя в океанскую глубину, – в бирюзе погасят нежнейшие отсветы: хлынет всюду темная синь, синевато-зеленая глубина: на дома, на граниты, на воду.

И заката не будет.

Конт-конт-конт!

Лакей подал суп. Перед тарелкой сенатора предварительно из прибора поставил он перечницу.

Аполлон Аполлонович показался из двери в своем сереньком пиджачке; так же быстро уселся он; и лакей снял уж крышку с дымящейся супницы.

Отворилась левая дверь; стремительно в левую дверь проскочил Николай Аполлонович в застегнутом наглухо мундире студента; у мундира топорщился высочайший (времен императора Александра Первого) воротник.

Оба подняли глаза друг на друга; и оба смутились (они смущались всегда).

Аполлон Аполлонович перекинулся взглядом от предмета к предмету; Николай Аполлонович ощутил ежедневное замешательство: у него свисали с плечей две совершенно ненужных руки по обе стороны туловища; и в порыве бесплодной угодливости, подбегая к родителю, стал поламывать он свои тонкие пальцы (палец о палец).

Ежедневное зрелище ожидало сенатора: неестественно вежливый сын неестественно быстро, вприпрыжку, преодолевал пространство от двери – и до обеденного стола. Аполлон Аполлонович перед сыном стремительно встал (все сказали б – вскочил).

Николай Аполлонович споткнулся о столовую ножку.

Аполлон Аполлонович протянул Николаю Аполлоновичу свои пухлые губы; к этим пухлым губам Николай Аполлонович прижал две губы; губы друг друга коснулись; и два пальца тряхнула обычно потеющая рука.

– «Добрый вечер, папаша!»

– «Мое почтение-с...»

Аполлон Аполлонович сел. Аполлон Аполлонович ухватился за перечницу. По обычаю Аполлон Аполлонович переперчивал суп.

– «Из университета?..»

– «Нет, с прогулки...»

И лягушечье выражение пробежало на ослабленном рте почтительного сыночка, которого лицо успели мы рассмотреть, взятое в отвлечении от всевозможных ужимок, улыбок или жестов любезности, составляющих проклятие жизни Николая Аполлоновича, хотя бы уж потому, что от *греческой маски* не оставалось следа; эти улыбки, ужимки или просто жесты любезности заструились каким-то непрерывным каскадом перед порхающим взором рассеянного папаша; и рука, подносящая ко рту ложку, очевидно дрожала, расплескивая суп.

– «Вы, папаша, из Учреждения?»

– «Нет, от министра...»

.....

Выше мы видели, как, сидя в своем кабинете, Аполлон Аполлонович пришел к убеждению, что сын его отпетый мошенник: так над собственной кровью и над собственной плотью совершал ежедневно шестидесятивосьмилетний папаша некий, хотя и умопостигаемый, но все же террористический акт.

Но то были отвлеченные, кабинетные заключения, не выносившиеся уже в коридор, ни (тем паче) в столовую.

– «Тебе, Коленька, перцу?»

– «Мне соли, папаша...»

Аполлон Аполлонович, глядя на сына, то есть порхая вокруг закорчившегося молодого философа перебегающими глазами, по традиции этого часа предавался приливу, так сказать, отчества, избегая мыслями кабинет.

– «А я люблю перец: с перцем вкуснее...»

Николай Аполлонович, опуская в тарелку глаза, изгонял из памяти докучные ассоциации: невиский закат и невыразимость розовой ряби, перламутра нежнейшие отсветы, синевато-зеленую глубину; и на фоне нежнейшего перламутра...

– «Так-с!...»

– «Так-с!...»

– «Очень хорошо-с...»

Занимал разговором сына (или лучше заметить – себя) Аполлон Аполлонович.

Над столом тяжелело молчание.

Этим молчанием за вкушением супа не смущался нисколько Аполлон Аполлонович (старые люди молчанием не смущаются, а нервная молодежь – да)... Николай Аполлонович за отысканием темы для разговора испытывал настоящую муку над остывшей тарелкою супа.

И неожиданно для себя разразился:

– «Вот... я...»

– «То есть, что?»

– «Нет... Так... ничего...»

Над столом тяготело молчание.

Николай Аполлонович опять неожиданно для себя разразился (вот непоседа-то!).

– «Вот... я...»

Только что «в о т я»? Продолжения к выскочившим словам все еще не придумал он; и не было мысли к «*вот... я...*» И Николай Аполлонович споткнулся...

– «Что бы такое к *вот я*», – думал он, – «мне придумать». И ничего не придумал.

Между тем Аполлон Аполлонович, обеспокоенный вторично нелепой словесной смятенностью сына, вопросительно, строго, капризно вдруг вскинул свой взор, негодуя на «мямляние»...

– «Позволь: что такое?»

В голове же сына бешено завертелись бессмысленные слова:

– «Перцепция...»

– «Апперцепция...»

– «Перец – не перец, а термин: терминология...»

– «Логия, логика...»

И вдруг выкрутилось:

– «Логика Когена...»

Николай Аполлонович, радуясь, что нашел выход к слову, улыбаясь, выпалил:

– «Вот... я... прочел в «*Theorie der Erfahrung*» Когена...»

И запнулся опять.

– «Итак, что же это за книга, Коленка?»

Аполлон Аполлонович в наименовании сына произвольно соблюдал традиции детства; и в общении с *отпетым мошенником* именовал *отпетого мошенника* «*Коленкой, сыном, дружкой*» и даже – «*голубчиком* ...»

– «Коген, крупнейший представитель европейского кантианства».

– «Позволь – кантианства?»

– «Кантианства, папаша...»

– «Кан-ти-ан-ства?»

– «Вот именно...»

– «Да ведь Канта же опроверг Кант? Ты о Конте ведь?»

– «Не о Конте, папаша, о Канте!...»

– «Но Кант не научен...»

– «Это Кант не научен...»

.....

– «Не знаю, не знаю, дружок: в наши времена полагали не так...»

.....

Аполлон Аполлонович, уставший и какой-то несчастный, медленно протирает глаза холодными кулачками, затвердивши рассеянно:

– «Конт...»

– «Конт...»

– «Конт...»

Лоски, лаки, блески и какие-то красные искорки заматались в глазах (Аполлон Аполлонович всегда пред глазами своими видел, так сказать, два разнообразных пространства: наше пространство и еще пространство какой-то крутящейся сети из линий, становившихся золотенькими по ночам).

Аполлон Аполлонович рассудил, что мозг его снова страдает сильнейшими приливами крови, обусловленными сильнейшим геморроидальным состоянием всей последней недели; к темной кресельной стенке, в темную глубину привалилась его черепная коробка; темно-синего цвета глаза уставились вопросительно:

– «Конт... Да: Кант...»

Он подумал и вскинул очи на сына:

– «Итак, что же это за книга, Коленка?»

.....

Николай Аполлонович с инстинктивной хитростью заводил речь о Когене; разговор о Когене был нейтральнейший разговор; разговором этим снимались *прочие разговоры*; и какое-то объяснение отсрочивалось (из дня в день – из месяца в месяц). Да и, кроме того: привычка к назидательным разговорам сохранилась в душе Николая Аполлоновича со времен еще детства: со времен еще детства Аполлон Аполлонович поощрял в своем сыне подобные разговоры: так бывало по возвращении из гимназии Николая Аполлоновича с видимым жаром объяснял папаше сыночек подробности о *когортах*, *тестудо* и *туррисах*; объяснял и прочие подробности галльской войны; с удовольствием тогда внимал сыну Аполлон Аполлонович, снисходительно поощряя к интересам гимназии. А в позднейшие времена Аполлон Аполлонович Коленке даже клал ладонь на плечо.

– «Ты бы, Коленка, прочитал *Логику* Милля: это, знаешь ли, полезная книга... Два тома... Я ее в свое время прочитал от доски до доски...»

И Николай Аполлонович только что пред тем проглотивший *Логику* Зигварта, тем не менее выходил в столовую к чаю с преогромным томом в руке. Аполлон Аполлонович, будто бы невзначай, ласково спрашивал:

– «Что это ты читаешь, Коленка?»

– «*Логику* Милля, папаша»

– «Так-с, так-с... Очень хорошо-с!»

.....

И теперь, разделенные до конца, приходили они бессознательно к старым воспоминаниям: их обед часто кончался назидательным разговором...

Некогда Аполлон Аполлонович был профессором философии права: в это время многое он прочитывал до конца. Все то – миновало бесследно: пред изящными пируэтами родственной логики Аполлон Аполлонович чувствовал беспредметную тяжесть. Аполлон Аполлонович не умел сынку возражать.

Он, однако, подумал: «Надо Коленке отдать справедливость: умственный аппарат у него отчетливо разработан».

В то же время Николай Аполлонович с удовольствием чувствовал, что родитель его – необычно сознательный слушатель.

И подобие дружбы меж ними возникало обычно к десерту: им иногда становилось жаль обрывать обеденный разговор, будто оба они боялись друг друга; будто каждый из них в одиночку друг другу сурово подписывал казнь.

Оба встали: оба стали расхаживать по комнатной анфиладе; встали в тень белые Архимеды: там, там; вот и там; анфилада комнат чернела; издали, из гостиной, понеслись красноватые вспышки светового брожения; издали, из гостиной, стал потрескивать огонек.

Так когда-то бродили они по пустой комнатной анфиладе – мальчуган и... еще нежный отец; еще нежный отец похлопывал по плечу белокурого мальчугана; после нежный отец подвиг к окну мальчугана, поднимал палец на звезды:

– «Звезды, Коленька, далеко: от ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к земле два с лишним года... Так-то вот, мой родной!» И еще однажды нежный отец написал сыну стихотвореньице:

Дурачок, простачок,
Коленька танцует:
Он надел колпачок —
На коне гарцует.

Также когда из теней выступали контуры столиков, луч набережных огней пролетал из стекла: столики начинали поблескивать инкрустацией. Неужели отец пришел к заключению, будто кровь от крови его – негодяйская кровь? Неужели и сын посмеялся над старостью?

Дурачок, простачок
Коленька танцует:
Он надел колпачок —
На коне гарцует.

Было ли это, – может быть, не было этого... нигде, никогда?

Оба сидели теперь на атласной гостиной кушетке, чтоб бесцельно растягивать незначущие слова: вглядывались друг другу в глаза выжидательно, и каминное красное пламя на обоих дышало теплом; бритый, серый и старый на мигающем пламени рисовался Аполлон Аполлонович и ушами и пиджачком: с точно таким вот лицом на фоне горящей России изобразили его на обложке журнальчика. Протянув мертвую руку и не глядя сыну в глаза, Аполлон Аполлонович спросил упавшим голосом:

– «Часто у тебя, дружок, бывает... мм... вот тот...»

– «Кто, папаша?»

– «Вот тот, как его... молодой человек...»

– «Молодой человек?»

– «Да, – с черными усиками».

Николай Аполлонович осклабился, заломал вдруг вспотевшие руки...

– «Это тот, которого вы давеча застали в моем кабинете?»

– «Ну да – тот самый...»

– «Александр Иванович Дудкин!.. Нет... Что вы...»

И сказавши «что вы», Николай Аполлонович подумал:

– «Ну, зачем я это «что вы» сказал».

И подумав, прибавил:

– «Так себе, заходит ко мне».

.....

– «Если... если... это нескромный вопрос, то... кажется...»

- «Что, папаша?»
– «Это он приходил к тебе по... университетским делам?»
.....
– «А впрочем... если мой вопрос, так сказать некстати...»
– «Ничего себе... приятный молодой человек: бедный, как видно...»
.....
– «Он студент?...»
– «Студент».
– «Университета?»
– «Да, университета...»
– «Не технического училища?...»
– «Нет, папаша...»

Аполлон Аполлонович знал, что сын его лжет; Аполлон Аполлонович посмотрел на часы; Аполлон Аполлонович нерешительно встал. Николай Аполлонович мучительно почувствовал свои руки, сконфуженно забегал глазами Аполлон Аполлонович:

– «Да, вот... Много на свете специальных отраслей знания: глубока каждая специальность – ты прав. Знаешь ли, Коленька, я устал».

Аполлон Аполлонович о чем-то пытался спросить потиравшего руки сына... Постоял, посмотрел, да и... не спросил, а потупился: Николай Аполлонович на мгновение почувствовал стыд.

Механически протянул Аполлон Аполлонович сынку свои пухлые губы: и рука трянула... два пальца.

- «Добрый вечер, папаша!»
– «Мое почтение-с!»

Где-то сбоку зашаркала, зашуршала и вдруг пискнула мышь.

.....
Скоро дверь сенаторского кабинета открылась: со свечою в руке Аполлон Аполлонович пробежал в одну ни с чем не сравнимую комнату, чтоб предаться... газетному чтению.

.....
Николай Аполлонович подошел к окну.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и бешено проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась невяская даль и от этого зелено замерцали беззвучно летящие плоскости, отдавая то там, то здесь искрою золотой; кое-где на воде вспыхивал красненький огонечек и, помигав, отходил в фосфорически простертую муть. За Невою, темнея, вставляли громадные здания островов и бросали в туманы блекло светившие очи – бесконечно, беззвучно, мучительно: и казалось, что – плачут. Выше – бешено простирали клочковатые руки какие-то смутные очертания; рой за роем, они восходили над невяской волной; а с неба кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном, хаосом не тронутом месте, там, где днем перекинут Троицкий Мост, протуманились гнезда огромные бриллиантов над разблиставшимся роем кольчатых, световых змей; и свиваясь, и развиваясь, змеи бежали оттуда искристой чередою; и потом, заныряв, поднимались к поверхности звездными струнками.

Николай Аполлонович загляделся на струнки.

.....
Набережная была пуста. Изредка проходила черная тень полицейского, вычерняясь в светлый туман и опять расплываясь; и вычернялись, и пропадали в тумане там заневские здания; вычернялся и опять в туман уходил Петропавловский шпиг.

Какая-то женская тень давно уже вычернялась в тумане: став у перил, не уходила в туман, но глядела прямо на окна желтого дома. Николай Аполлонович усмехнулся пренебрежительной

улыбкой: приложив к носу пенсне, он разглядывал тень; Николай Аполлонович с любово-страстной жестокостью выпучил очи, все глядел на ту тень; радость исказила черты его.

Нет, нет: не – она; но и она, как та тень, хаживала вокруг желтого дома; и он ее видел; в душе его было все непокойное. Она его, без сомненья, любила; но ее ожидала роковая страшная месть.

Черная случайная тень уже расплылась в тумане.

.....

В глубине темного коридора звякнула металлическая задвижка, в глубине темного коридора промерцал свет: Аполлон Аполлонович со свечою в руке возвращался из одного ни с чем не сравнимого места: серый, мышинный халат, серые бритые щеки и огромные контуры совершенно мертвых ушей отчетливо изваялись издали в пляшущих светочах, убегая за светлый круг в совершенную тьму; из совершенной тьмы Аполлон Аполлонович Аблеухов прошел до дверей кабинета, чтобы кануть опять в совершенную тьму; и место его прохождения из раскрытой двери зияло так мрачно.

.....

Николай Аполлонович подумал: «Пора».

Николай Аполлонович знал, что сегодня до ночи митинг, что т а шла на митинг (ручательством было *сопровождение* Варвары Евграфовны: Варвара Евграфовна всех водила на митинги). Николай Аполлонович подумал, что прошло уже два с лишним часа, как он встретил их, по дороге к *мрачному зданию*; и теперь он подумал: «Пора»...

Митинг

В обширной передней мрачного здания была отчаянная толчея. Толчея несла ангела Пери, колыхая взад и вперед меж чьими-то спиною и грудью; так отчаянно силилась она протянуться к Варваре Евграфовне: но Варвара Евграфовна, не внимая, где-то там, била, билась, толкалась: и пропала вдруг в толчее; вместе с ней и пропала возможность расспросить о письме. Что письмо! В глазах ее еще багрянели закатные пятна; и – там, там: как-то странно повернутый к ней на дворцовом выступе в светло-багровом ударе последних невских лучей, выгибаясь и уйдя лицом в воротник, стоял Николай Аполлонович с пренебрежительной улыбкой. Нет! Во всяком случае представлял он собой довольно смешную фигуру: казался сутулым и каким-то безруким с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом; ей хотелось заплакать от горького оскорбления, будто он ее больно ударил серебряным хлыстиком, тем серебряным хлыстиком, который в зубах, сопя, пронес полосатый, темный бульдог; ей хотелось, чтоб муж, Сергей Сергеич Лихутин, подойдя к этому подлецу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал бы по этому поводу свое офицерское слово; у нее в глазах мелькнули еще невские облачка, будто мелкие вдавлины перебитого перламутра, меж которых лилось равномерно бирюзовое все.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.